

# ИГОРЬ – СЕВЕРЯНИН В ДУБРОВНИКЕ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Издание Михаила Петрова.  
Reval. 2023



Супруги Лотарёвы Игорь и Фелисса  
Фотография для семейного паспорта.  
Таллинн. 1930 год.

## От составителя

Давно пора разобраться с важной составляющей заграничной жизни Игоря-Северянина — его гастрольной деятельностью в дальнем зарубежье. Гастрольные поездки сопровождались как правило бурной издательской деятельностью.

Гастроли в Германии — сборники стихов «Миррэлия», «Фея Eī ole», «Менестрель», «Соловей», «Трагедия Титана», роман «Падучая стремнина». Югославия — «Классические розы», «Медальоны». Готовился большой сборник «Очаровательные разочарования», но из печати не вышел. Румыния — роман в стихах «Lugne» и активное сотрудничество в организации журнала «Золотой петушок» под редакцией Леонида Евицкого и при участии поэтессы Любови Столицы. И всё это без учёта книг, вышедших в Эстонии.

Кстати, профессор Тартуского государственного университета Валмар Адамс, близко знавший поэта, первым заметил, что через гастрольную деятельность Игоря-Северянина в Европе стала известна эстонская поэзия, в том числе молодая. И действительно жена поэта Фелисса читала со сцены эстонские оригиналы, а Игорь-Северянин свои переводы. Тема не исследована вообще.

Специалистам почти неизвестна реакция публики и зарубежной прессы на выступления поэта, за исключением, пожалуй, публикации письма Марины Цветаевой к С.Н. Андрониковой-Гальперн с описанием одного из выступлений Игоря-Северянина в Париже в 1931 году. Между тем пресса — это кладёзь информации, в том числе о личной жизни поэта, его прямая речь, отражённая в нескольких интервью. В одном из интервью есть даже прямая речь Фелиссы! Как-то я попытался частично восполнить этот пробел в сборнике «Окрест Северянина» (Таллинн, 2017) материалами югославской, румынской и болгарской прессы. Однако это лишь малость, до которой я успел дотянуться, прежде чем развалилась Югославия.

\* \* \*

Этот сборник материалов открывают дневниковые записи Василия Витальевича Шульгина. Он родился в Киеве 13 января (н.с.) 1878 года, умер 15 февраля 1978 года во Владимире. Учился в Киевском университете, на последнем курсе которого безосновательно прослыл анти-семитом. Активно печатался в газете «Киевлянин».



Василий Витальевич Шулгин.  
Югославия, 1933 год. Портрет работы Л.Христова  
с автографом Шулгина.

Шульгин известен как монархист, на долю которого выпало вместе лидером думских Октябристов Александром Ивановичем Гучковым 2 марта 1917 года принять во Пскове отречение от престола из рук последнего всероссийского императора Николая II — какая горькая ирония судьбы для убеждённого монархиста!

Шульгин — идеолог Белого движения, принимал участие в организации Добровольческой армии. Дважды, разыскивая пропавших сыновей, нелегально побывал в Советской России, но... под нежным прищелком ВЧК (контрразведывательная операция «Трест», 1921-1927). Шульгин автор повестей «Дни» и «Три столицы», историко-философской работы об антисемитизме в России «Что нам в них не нравится».

В тридцатые годы в скитаньях Шульгина был период, когда он жил в Дубровнике в гостеприимном доме Александра Владимировича Сливинского, выпускника Николаевского артиллерийского училища, полковника Генерального штаба, в годы Гражданской войны — начальника штаба гетмана Скоропадского, в Югославии — военного историка и дорожного инженера.

Вторая жена Шульгина Мария Дмитриевна дочь генерала Д.М.Седельникова. Они познакомились перед эвакуацией из Крыма. Седельникову арестовала контрразведка Добровольческой армии. Времена были суровыми, а дознания лаконичными, так что Марии Дмитриевне грозил расстрел, от которого её спас Шульгин. Спас и забыл о ней. В Константинополе она сама разыскала его и в 1924 году они обвенчались.

В 1937 году Шульгин отошёл от активной политической деятельности. Жил в Сремских Карловцах, где в 1944 году был арестован и приговорён к 12 годам лишения свободы за прежнюю контрреволюционную деятельность в России. Наказание от звонка до звонка отбывал во Владимирском центре. В 1956 году освобождён и вместе с женой поселился во Владимире. Похоронен там же.

По долгу службы я бывал во Владимирской тюрьме, видел камеру Шульгина. По соседству с ним какое-то время пребывала связная Степана Бандеры. Местный кум рассказывал, что связная и Шульгин активно перестукивались. Имени связной, разумеется, не помню, но Wikipedia подсказывает, что, возможно, это была связная УПА Теодозия Кобылянская.

Игорь-Северянин и Василий Шульгин познакомились в Дубровнике на вилле Сливинского Flora Mira и даже подружились. Шульгин писал Игорю-Северянину в Тойла, поздравлял с Рождеством и Пасхой, присылал собственные стихи. В частном эстонском архиве чудом сохранилось лишь несколько его открыток. Стихи Шульгина в полном объёме ещё предстоит разыскать и открыть для читателя.

«Тетрадь № 3» представляет собой малую часть дневника, который Шульгин вёл в тюрьме. Предлагаемый фрагмент относится к двум поездкам Игоря-Северянина в Югославию в 1931 и 1933-34 годах. В рождественский сочельник 1951 года Шульгину приснился Игорь-Северянин, а по утру он начал записывать в дневнике, всё что о нём помнил. Игорь-Северянин посвятил Шульгину сонет:

В нем нечто фантастическое: в нем  
Художник, патриот, герой и лирик,  
Царизму гимн и воле панегирик,  
И, осторожный, шутит он с огнём...

Он у руля — спокойно мы уснём.  
Он на весах России та из гирек,  
В которой благородство. В книгах вырек  
Непререкаемое новым днём.

Его призванье — трудная охота.  
От Дон-Жуана и от Дон-Кихота  
В нем что-то есть. Неправедно гоним

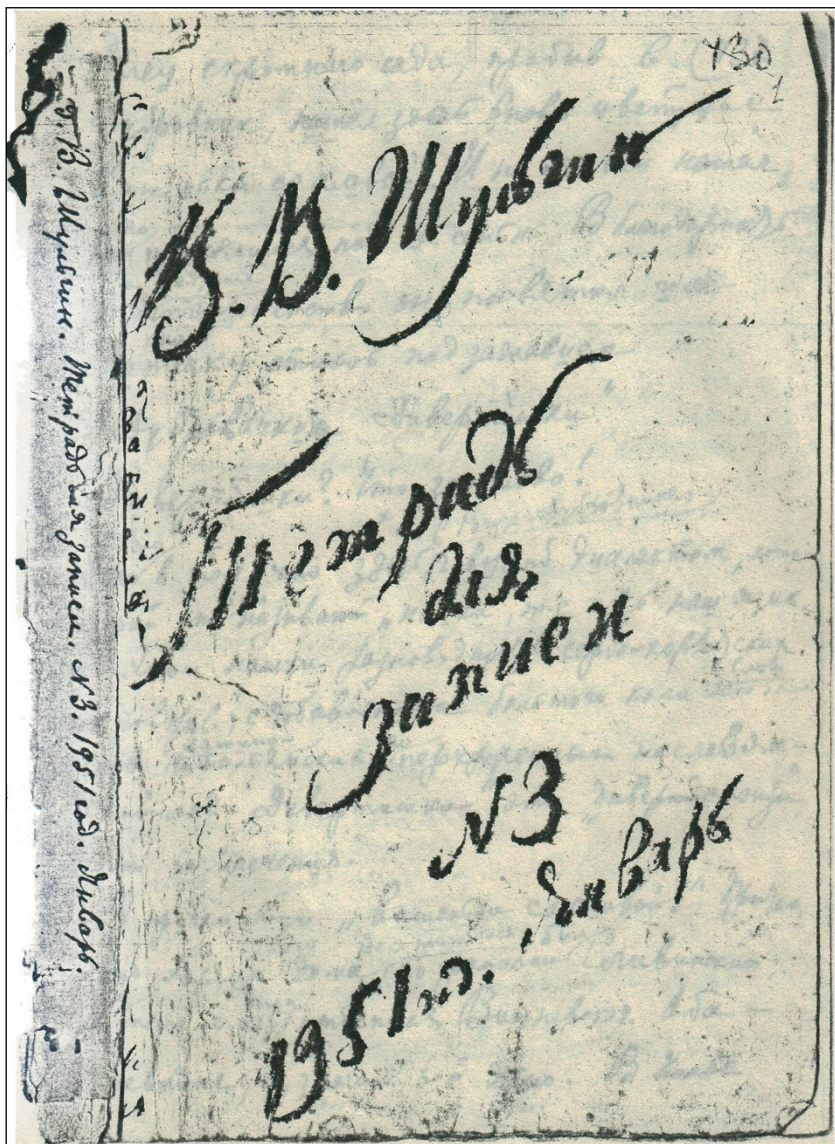
Он соотечественниками теми,  
Кто, не сумевши разобраться в теме,  
Зрит ненависть к народностям иным.

*Кишинёв, 18 февраля, 1934.*

В тексте публикации по возможности сохранена оригинальная орфография и пунктуация В.Шульгина.

Публикуется с любезного разрешения РГАЛИ СССР. Впервые опубликовано М.Петровым под названием «Василий Шульгин. Воспоминания об Игоре-Северяnine. Владимир. 2006». Место издания было указано в знак уважения к судьбе Шульгина.





РГАЛИ СССР. Фонд 1337 опись 33.

До 7 января 1951 года

...прибыв в Дубровник, нашёл здесь вновь цветущие «вишенки со сливой». И не только нашёл, но и поселился под их сенью. В благодарность за радушное гостеприимство он посвятил им книжечку стихов под заглавием «Дубровачки Дивертишки».

Дивертишки? Что за слово!

Дело в том, что здесь, в Рагузе-Дубровнике, говорят диалектом, который они сами называют «нашхи», т.е. наш язык. Этот нашхи разновидность сербо-хорватских говоров; с добавлением большого количества слов латино-итальянских, но перекрученных на славянский лад. «Дивертишки» это «дивертисмензы»\*, т.е. развлечения.

А причем тут «вишенки со сливой»? Притом, что хозяин этого дома, где я приютился, был по фамилии Сливинский; а жена его была урождённая Вишневская. Оба — киевляне; и, значит, все ясно. В Киеве в былое время... ну, об этом сейчас не стоит вспоминать. А прожил я тогда под «вишенками и сливами» месяца четыре. Александр Владимирович Сливинский в своё время блестяще кончил академию генерального штаба; был занесён на «золотую доску». Прибыв в Югославию поступил в [*неразб.*] инженерное училище, кончил его и стал работать подрядчиком от казны — строил грунтовые дороги в окрестности Дубровника; хорошо зарабатывал; занимал прекрасную виллу, где было несколько свободных комнат. Пройдя основательно всю дорожную премудрость, он, однако не выучил основного правила: нельзя отдыхать на придорожных камнях. Вместе с деньгами он на этих дорогах заработал мерзкое lumbago\*. Когда я у них жил ласкаемым гостем, бедный хозяин лежал в постели очень страдая. По характеру он был любезный, гостеприимный человек, но был бы счастлив и вдвоём со своей женой. Она же любила вокруг себя человеческую суету. Поэтому свободные комнаты, где должен был быть по идее, когда нанимаем большую виллу, платный и доходный пансион, на самом деле почти всегда был занят приبلудами вроде меня. Так попали в этот дом и птички певчие, называемые иначе Северяне.

\* \* \*

Он повсеместно обэкранен  
Но он обронзит наш гранит;  
Стал южным Игорь Северянин,  
Он иго севера казнит!



Так было записано о нем в «Дубровачких Дивертишки». Да как было не казнить север, ежели он грязным снегом покрывал, падающий на землю розовый цвет миндаля! Но в доме, где подавали сливянку («шливовицу») к закускам и вишневку к кофе, было тепло. Уютно горел камин в гостиной, убранной по-восточному. Ковров то ковров! И на полу, и на стенах. Благо, ковры в этой стране дешевле грибов. Нет, не грибов, которых здесь очень мало, а, скажем, дешевле маслин и вина. Вино? Литр вина здесь стоит столько же, сколько килограмм печёного хлеба; хлеба чисто белаго, разумеется; ржаного здесь нет совсем. Впрочем, хлеб ввозится из других провинций. Далмация в хлебном деле страна дефицитная. Виноград и оливы!

\* \* \*

Надо мне остеречься, чтобы не начать описывать собравшееся в этой ковровой гостиной общество. Это завело бы меня слишком далеко. Здесь были стар и млад. Достаточно сказать, что иногда заводили граммофон для танцев. Но как плохо старики понимали молодых, выяснилось, когда одна юная русская барышня вздумала обучать меня tango. Я был прям и строг, как могильный кипарис. Выведенная из терпения моей тупостью она, наконец, сказала:

— Да возьмите же меня, как надо!

— То есть?

— Ближе и крепче...

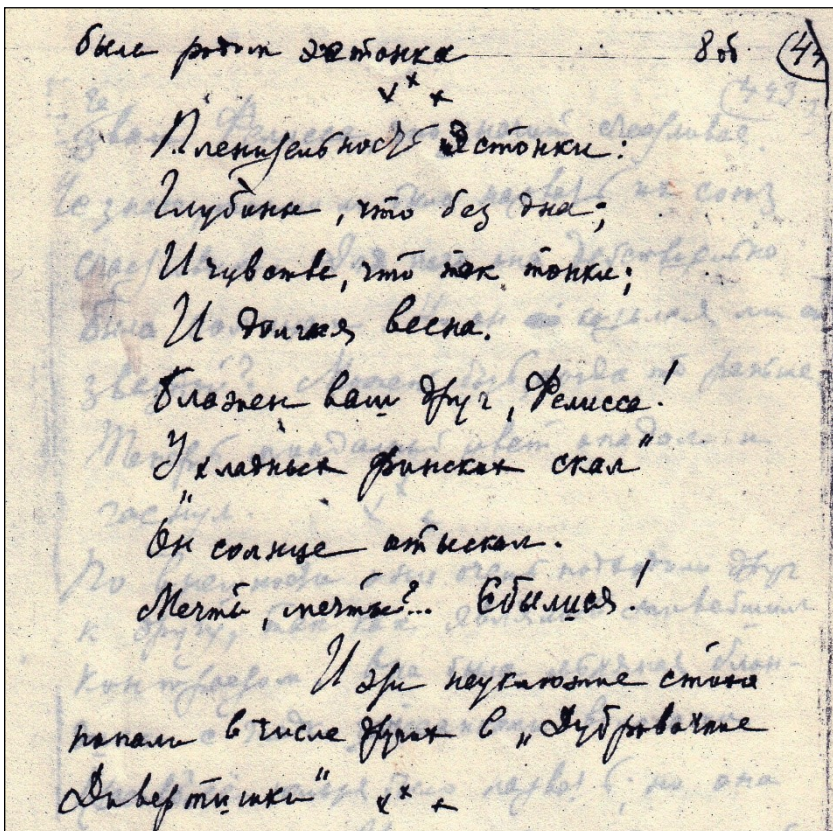
Вот уж поистине: век живи, век учишь; дураком помрёшь!

## 7. I. 1951

В этой то гостиной вдруг появился Игорь Северянин с женой. Их пригласили погостить под вишнями и сливами. Так же, как и меня. Они совершали турнэ по Югославии. Давали в разных городах и городках «концерты», т.е. читали стихи. Она ведь тоже была певчая птичка, поэтесса. И попережку с мужем читала свои произведения. Русские стихи\*, хотя она была родом эстонка.

\* \* \*

Пленительность эстонки:  
Глубины, что без дна;  
И чувства, что так тонки;  
И долгая весна.  
Блажен ваш друг, Фелисса!  
У «хладных финских скал»



Он солнце отыскал.  
Мечты, мечты?.. Сбылся!

И эти неуклюжие стихи попали в числе других в «Дубровач-  
ские Дивертишки».

\* \* \*

Но когда я духовным взором оглядывал супругов Северян, все-  
гда где-то звучало:

«До гроба твоя Перикола  
Но больше страдать не хочу!»

\* \* \*

Её звали Фелисса, что значит счастливая. Не знаю, можно ли было назвать их союз счастливым. Для него она, действительно, была солнцем. Но он казался ли ей звездой? Может быть, когда-то раньше. Теперь миндальный цвет опадал и гаснул.

\* \* \*

По внешности они очень подходили друг к другу, так как являлись полнейшим контрастом. Она была льняная блондинка с гладко зачёсанными волосами. Красивой её нельзя было назвать; но она была изящна. И иностранный акцент, от которого она не могла освободиться, не делал её смешной; он скорее придавал ей некоторую изысканность. Она была хорошего роста, стройная. Она была в стиле Ибсена. Он? Северянин? В его наружности не было ни одной северной черты. Как есть южанин! Загадочны эти русские люди. Его настоящая фамилия, кажется, была Четвериков\*.

Он был высокий, худой, очень сутулый. На голове чёрная грива. Вот тебе и Северянин! Голос у него был глуховатый; но довольно сильный; звучавший в большой зале. Он читал свои стихи хорошо, в своей собственной манере. И это было странно, потому что к его музе более подходили бы и другой голос, и другой выговор. Несомненно, что-то южное было в нем, но какой расы? Еврейская кровь? Нет, какая-то другая, а какая не подберу. Четвериков? Ему больше подходила бы какая-нибудь экзотика. И некоторая изящная развязность была бы к лицу поэту, сказавшему сам о себе:

«Я повсеместно обэкранен!!»

А он был совсем скромный! Да, в частной жизни он был скромный, тихий, молчаливый. Но не угрюмый. Он молчал, но слушал внимательно и охотно; и на губах его была добрая улыбка. В этой улыбке обозначалось одновременно и что-то детское, и что-то умудрённое.

«Аще не будете, яко дети, не внидете в Царствие Божие...»

Евангелие.

В эту свою пору, он как бы стыдился того, что написал в молодости; всех этих «ананасов в шампанском»; всего того талантливое и оригинальное кривлянья, которое сделало ему славу. Славу заслуженную, потому что юное ломанье Игоря Северянина было свежо и ароматно. Но прошли годы; он постарел по мнению некоторых; вырос, по мнению других. Ему захотелось стать «серьёзным» поэтом; захотелось «обронзить свой гранит...» <выражение Василия Шульгина>

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (стих Александра Пушкина)

Его лира устала от побрякушек, хотя бы и тонко-ювелирных; ему захотелось заниматься бронзово-гранитным творчеством; оставить память по себе. И струны его лиры стали звенеть на темы о родине и на гражданские мотивы. Эти новые для него мелодии звучали с тем выражением доброты и примирительности, которое вообще блуждало на его «слушающих» губах; а в особенности это бывало, такое выражение, когда перед ним ломались некоторые копыя, некоторых спорщиков по некоторым вопросам.

«Виновных нет, все правы!»

Он декламировал это с большим чувством в «концертах». И глухой голос звучал искренно; черные вихры вихрями падали на смуглый южный лоб.

**8 янв. 1951 года.**

Но на этих улыбающихся с добротой, на этих слушающих губах был ещё и оттенок некой печали. Печаль его мало сама себя созначала; потому и была трогательна. Она, печаль, я думаю, была «вообще» и «в частности». «Вообще» объяснять не приходится. Достаточно сказать: он был эмигрантом. Можно ещё добавить, что он, став эмигрантом, остался поэтом. Никакого другого занятия у него не было. Птичка Божия!

«Возрите на птиц небесных: ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; но Отец ваш Небесный питает их».

Те, кто так живёт, как птицы, если они святые апостолы, несомненно блаженны. Если же они обыкновенные люди, они только нищие бродяги и очень злы. Но ежели они поэты, они бывают чуточку печальны иногда.

Это «вообще». А «в частности»? Да, была и какая-то печаль в частности.

\* \*\*

Не знаю, Фелисса его жена, была ли она когда-то в его мыслях принцессой. Ингфрид\* (кажется, так ее звали) была ли она вдохновительницей некой его скандинавской поэмы. Несомненно, было то, что сейчас он смотрел на неё с любовью. И притом с любовью, отвечавшей его общему облику; с любовью и детской, и умудрённой

Умудрённой — это естественно: он был значительно старше её. Но — детской? В этом была загадка одной тайны

Она была младше его и вместе с тем очень старше. Она относилась к нему так, как относится мать к ребёнку; ребёнку хорошему, но испорченному. Она, как мне кажется, не смогла его разлюбить; но научилась его не уважать. И это потому что ему не удалось её «испортить». Ингрид не стала Периколой\*.

\* \*\*

Да, она была поэтесса; изысканна в чувствах и совершенно не «мещанка». Но все же у нея был какой-то маленький домик, где-то там, на Балтийском море; и была она, хоть и писала русские стихи, телом и душой эстонка. Это значит, что в ней были какие-то твёрдые основы; какой то компас; какая-то северная звезда указывала ей некий путь. А Игорь Васильевич? Он был совершенно непутёвый; 100%-ая богема; и на чисто русском рассоле. Она была от балтийской воды; он — от российской водки. Он, по-видимому, пил запоем, когда она стала его женой. Но у неё был характер, у этой принцессы с эстонской мызы. Она не отступила перед задачей более трудной, чем выучиться писать русские стихи; а именно: она решилась вырвать русскую душу у боярина Петра Смирнова\*. Ей это удалось, в общем. Когда я с ними познакомился, он не пил ничего; ни рюмки. И в нем не было никаких признаков алкоголика; кроме разве вот этой полупечали. Это, как мне казалось, не была печаль простая, низменная по сладостям «казённого вина». Тут было другое. В борьбе, которую повела эстонка за русский талант, он, талант, много раз больно огорчал Ингрид. Сколько раз ей казалось, что одержана окончательная победа; и вдруг он запивал так будто хотел проглотить всю «Балтийскую лужу». Сколько «честных слов» оказались бесчестными? Она его все же не бросила; она не могла бросить дело своей жизни, она была и тверда, и упряма; но она бессильна удержать в своём собственном сердце два отношения к своему собственному мужу; к мужчине, бесконечно спасаемому и вечно падающему. Её чувство существенно переродилось; из первоначального восхищения, вызванного талантом, оно перешло в нечто педагогическое. Из принцессы ей пришлось стать гувернанткой. А потребность восхищения все же в ней осталась; ведь она была поэтесса! И он это понял, он это чувствовал. Он и не мог наполнить поэтических зал в её душевных апартаментах. Но ведь он был поэт! Поэзия, можно сказать, была его специальность; это было то, зачем он пришёл в мир. И вот, можно сказать, родная жена... Это было горько. Тем более горько, что справедливо. Разве он этого не заслужил? Заслуженное, справедливое оно то и печалит. Наоборот, несправедливость таит в себе природное утешение.

Чем выше она, жена подымалась, тем ниже он, муж падал в своих собственных глазах. И они расходились, как ветви гиперболы.

## 9. I. 1951.

Но было ли это все? Что я до сих пор сказал, основано на её прямых словах. Все знали: Игорь Васильевич не пьёт ничего потому, что если выпьет хот одну рюмку, хотя бы этой «шливовицы» (местная водка из слив), то уже не остановится...

А то, что я напишу сейчас, я заключаю из некоторых недомолвок.

La froideure de la femme\* очень легко было подозревать в этой северной женщине; она гармонировала бы с её льняными гладко зачёсанными волосами. Принято думать, что черноокие и чернокудрые красавицы юга исполнены огня. В этом деле можно, конечно, нередко ошибаться. Но тут было больше, чем золотые волосы. Все её обращение с ним sentait l'amour blanc\*. Что она была с ним «навек», ничего не значит. Под этим холодным «вы» иногда скрывается очень знойное «ты»; только оно бережётся от света; и именно потому бережётся, чтоб его сохранить вполне для минуты, когда говориться:

«Наконец, мы одни!»

Но здесь как-то трудно было это допустить. Наоборот, здесь чувствовалась какая-то драма. В особенности, когда она говорила:

— У Игоря Васильевича есть сын...

— От другой жены вы хотите сказать?

Она улыбалась. Улыбка у неё была приятная, несколько лукавая, чтобы не сказать загадочная. И говорила:

— Да, нет же. Он считает, что это и мой сын.

— А вы?

— Я от него отреклась. Это сын Игоря Васильича!

— ?.

— Вы не понимаете? Это трудно понять. Но это так. Ему сейчас шестнадцать лет\*. И живёт он у бабушки. Я его не хочу видеть.

\* \* \*

Кто изрёк, что женщина, которая не любит детей, — чудовище! Это говорилось про женщину, которая не любит детей вообще. Что же сказать про такую, что отрекается от своего собственного ребёнка?

Скажу, что такой была Екатерина вторая, называемая великой. Но надо прибавить то, что её отношение к будущему императору Павлу I, имело оправдание. Если бы она своевременно решилась отстранить своё дитя от престола, быть может, не разыгралась бы кровавая трагедия

Инженерного замка. Такие же чувства, можно сказать, отвращения душевного к своему дитяти, питала мать императора Вильгельма II. И здесь эта семейная драма, говорят, была не без оснований. Может быть, и принцесса Ингрид могла бы раскрыть причину, почему «сын Игоря Васильевича» оказался без матери. Но она не сказала. Не сказала, хотя и подружилась со мной. Она предоставила мне догадываться. Но я не догадался. А пустые гипотезы нечего размазывать.

\* \* \*

Впрочем, я считаю допустимым предположить, что с неё достаточно было и одного «испорченного ребёнка». Restons la!\*

### 10. I. 1951 г.

Жестокий испанский инквизитор don Lumbago\* на время отпустил А.В.\* Он воспользовался этим, чтобы ехать в Цетинье, куда его призывали его дорожные дела. Чтобы не было скучно он хотел бы взять жену; а она позвала и нас, трёх своих именитых гостей-приблуд. Машина была не Ролс-Ройс, конечно\*\*; но за шофёра был сам хозяин. И мы весело покатали.\*

\* \* \*

— С одной стороны море, с другой Италия!.. (Гоголь. Записки сумасшедшего.) Не Италия, Далмация. Но эта страна — та же формация; что даже видно и по карте. Итальянский «сапог» явственно отъехал от материка; так же, как некогда Америка отползла от Европы и Африки; в те загадочные дни, когда провалилась загадочная Атлантида. Я не буду описывать этой чудной Далматинской природы; незабываемой!

— Струна звенит в тумане... (ibid)

Пусть звучит! Я её слышу. Но разве эти мои каракули, появляющиеся на листе, могут что-нибудь передать? Я недавно одним глазом заглянул было в одни воспоминания — описания Швейцарии; это очерки не такого бумагомарателя, как я; самого Льва Николаевича Толстого! Скука они зелёная — да простит мне Яснополянский гений. Если автор Анны Карениной не одолел озёр и вершин Швейцарии; то не мне же справиться с морем и горами Далмации. Да сохранит меня от такого поползновения бог скромности.

— Матушка, спаси своего бедного сына! (ibid)

К чему? Зачем описывать природу? Перу, как и кисти, подвластно далеко не все. Вернее, будет сказать, что почти все громко сказанное «неописуемо». Тот, кто выдумал это слово, был гений. В наши дни фотографическая техника подтвердила это меткое наблюдение, подарив миру полное глубокого смысла неуклюжее выражение: «нефотогеничность».

— Она хороша; играет превосходно, но что же делать, она не-фотогенична!

Другими словами, она не подвластна свету, т.е. объективу. Кисть или перо, которым пишут для экрана, её не передаёт. И все тут!

С Тургеневым ушла некая тайна; провалилась, как Атлантида; погибла тайна описаний природы. Наследникам Иван Сергеевича эти описания не даются. Я говорю о наследниках, пишущих пером. Но те, кто работают стеклянным стилем, я хочу сказать объективом кинематографа, те его, Тургенева, бесконечно превзошли. Идите же пред лицо «великаго немого»; как раз в те дни, когда мы мчались по берегу Адриатики, чтобы подняться на Ловчен, он, немой, заговорил; идите в истинный театр XX века, природолюбивый кино\*; смотрите горы и слушайте море: они фотогеничны!

— Дайте мне тройку быстрых, как ветер коней!.. (ibid)

Ну, вот это уже совсем не нужно. Какая тройка, хотя бы кореник был кровный орловский рысак, а пристяжные полудикие степняки, может сравниться с этим скромным авто?\*\*\* Во время Гоголя сам император Николай I не мог ездить так, как мчится сейчас подрядчик шоссе-ных дорог с женой и тремя приبلудными, бедными, как воробы. И ещё неугомонный человеческий гений...

— Пой, мой ямщик! (ibid)

Нет, этого Алек. Влад. не будет делать! Поют, мчась на автомобиле, только пьяные перед тем как разбиться. А Сливинский ничего не пьёт; и потому ведёт машину уверенно и осторожно.

«Он у руля, спокойно мы уснём...»\* Откуда это?

— Струна звучит в тумане... [...]

### 13 янв. 1951\*

Revenous a'nos moutons\* ... Вернёмся на берега Ядрана. Впрочем, миновав Цафтай\* дорога бросила море и ушла в горы; в бесплодные серые скалы, и очаровательные долины. Последние становились воистину прекрасными, когда их раскрашивало солнце, временно побеждая пасмурный день. Но эти долины носили совсем не солнечное название «Конавла». Оно, кажется, одного корня с русской канавой. Этим же неблагоприятным именем называется несколько сел, забравшиеся повыше на скалы; им, суровым сёлам, принадлежат эти благодарные долины. Дома там серого камня; внешний вид этих деревень не очень уютный. Но сами Конавляне и в особенности Конавлянки\* славятся своей красотой. Говорят, даже, что наука, очевидно этнология, столкнула на своих скрижалях этот остров человеческий.



Но до меня их красота, как говорится, «не дошла». Они так же неуютны, на мой взгляд, как и их жилища. Но что меня все же поразило, это тонкость и правильность черт лица. Целое племя аристократов!

Этнология, насколько я знаю, правда понаслышке, говорит, что Конавляне это какая-то особая раса, здесь сохранившаяся или сюда, откуда-то пришедшая. Но есть и другое объяснение.

\* \* \*

Кто путешествует по Югославии, должен знать, чтобы не попасть в неловкое положение, что есть два города, которые совершенно по-разному относятся к одному и тому же историческому лицу. В Любляне (Лейбах), столице Словении Наполеона любят. В Рагузе-Дубровнике имя Бонапарта ненавистно\*. [...]

\* \* \*

Мы пили там, т.е. в одном Конавлянском селе, чёрное кофе; чтобы дать А.В. немного отдохнуть. Называется это кофе чёрное, а оно совсем коричневое. «Турска кафа»\*, которую здесь пьют все всюду, гораздо светлее «французского». Какая-то такая особая пенка это делает. Турску кафу подают в совсем маленьких чашечках; она очень сладкая; горячая, ароматная; и варится из высокосортного кофе. Той кислой дрянью (прошу прощения у Франции), той, которую с пленительной улыбкой подаёт вам француженка под тентом safe-nature, здесь не знают. Варится турска кафа в маленьких медных «од бакра» — кофейниках с непомерно длинной ручкой; за эту ручку турска ловко вырывается из огня, ведь она вскипает мгновенно. Её надо уметь сварить; не всем она даётся.

Перед каждой варкой мелется из зерен свежее кофе; мелется в очень красивых тоже «бакранных», натёртых до блеска золота, массивных цилиндрах, которые, когда мелют, зажимают между колен. Из бакры делают ещё всяческие сосуды и предметы; все это бакраная золотая поэзия удивительно идёт к черно-красным коврам и к маленьким черным спинкам с перламутровыми инкрустациями.

— В моем доме, в Котирании, будет такая комната. Приглашаю вас. Мы будем пить турску кафу и вспоминать, как мы были здесь в Конавлях...

Фелисса улыбается своей эстонской улыбкой. Она совершенно не походила на конавлянку, т.е. есть ничутьки?

— Как вы сказали? Котирания? Что это такое?

Я рассказал. Улыбка продолжала оставаться на бледных губах, но зелёные глаза её выразили то, что надо.



Кофейная мельница из бронзы.

«Пленительность эстонки:  
Глубины, что без дна,  
И чувства, что так тонки...»

В кофейной гуще, по которой можно и гадать, звучало без слов:  
— Вы очень тоскуете по вашим мальчикам?\*

Но она этого не сказала. Она только улыбалась, и я ей был благодарен. Затем тихонько уронила:  
— Я непременно приеду в Котирацию. [...]

### 18. янв. 1951

Вернёмся в ту кафану в Конавлях, где мы пили турску кофу с Северянами, пока Сливинские ходили по делам. Я кое-что рассказал им за это время про одну из Конавлянок. Кое-что, потому что тогда, в феврале 1932 года\* горная эпопея ещё далеко не разыгралась во всю, хотя неистовый мой Орландо\* успел уже поссориться со Сливинскими. Я, воспользовавшись отсутствием Сливинских, сетовал северянам на свою горькую судьбу:

— Когда я гостил у доктора, я не позволял ему безобразно говорить о Сливинских. Не только из-за этого одного, но из-за этого тоже; я с ним «разошёлся во взглядах», чтобы не сказать поссорился. Теперь я гощу у Сливинских. И не позволяю им безобразно говорить о докторе. Неужели придётся и с ними поссориться?

Северянин улыбнулся кротко. На его губах было, но не было высказано то, что он с увлечением декламировал в «концертах»:

«Виновных нет, все правы!»

А Северянка улыбнулась тонко. В её зелёных глазах я прочел сочувствие и нечто из Пушкина:

«Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв...»

Ах, Александр Сергеевич, вашими устами да мёд бы пить! А я вот пью всю жизнь горькую полынь... ликёр независимости! И в полутёмных ложах частной, интимной жизни; и на ярко освещённой сцене, общественной, публичной [жизни] я являюсь жертвой своей духовной свободы. Я чувствую несомненное сродство душ с Алексеем Толстым (старшим, Алексею Константиновичем). Он сказал о себе самом крылатое слово:

«Двух станов не боец...»

Северянин говорит по-детски, но чуточку печально, уже боясь:  
«Виновных нет, все правы!»

Я чувствую иначе:

— Виновных нет, но все неправы!

Да, а между тем уже начался Великий Пост; и во всех церквях неустанно повторяют:

— Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждай брата моего...

И звучит чудесная молитва. Звучит перед алтарём храма; а на паперти его по «старинному русскому обычаю», бьют друг друга в кровь:

— Эти тоже правы?

\* \* \*

Бог с ними! Сливинские вернулись, мы покатали дальше. Дорога так интересна, что описать её нельзя, я хочу сказать — хорошо описать, а плохо не стоит труда.

\* \* \*

Там, где то, точно не помню где, в Зеленике или Херцег-Нови, дворец не дворец, отель не отель, что-то вроде казино, что-то пленительное. Там была большая веранда, вся из стекла, где зимою упоительно. Море! Оно там царствует внизу, а небо благословляет сверху; две безбрежные синие стихии рвутся сквозь стекло в эту залу, где тепло, где по-человечески горит красный огонь. Простор, ширина и уютность — все вместе. В других залах там также хорошо, но иначе; там можно спрятаться от слишком волнительной природы. Там, как всюду.

За роялем могучий человек. Он талантлив и пьёт. Значит, русский? Да, бывший моряк. На стенах превосходные картины. Море. Какое море! Айвазовский? Нет, берите выше. Это бурное море живёт! Тоже русский? Да. И никто его не знает; и, вероятно, никогда не узнает. [...]

**19. янв. 1951.**

[...] Ах, было бы только немножко старинных дукатов на хлеб насущный, я бы уже знал бы чем жить. Чем?

Воспоминаниями! Я чувствую себя способным зарыться в прекрасную и страшную историю этой уснувшей страны. Она ожила бы под пером, моим никудышним, но взволнованным пером. Это я сказал Фелиссе. Зелёные глаза её ответили согласием без слов; но улыбка бледных не накрашенных губ сказала словами:

— А ваша жена? Она могла бы так жить?

Моя жена? Она живёт в Белграде под крылышком своего отца. Не все ли ей равно, где и как я буду проводить свои отдельные дни!

\* \* \*

Catargo или Котор городок ещё живой. Однако вся его прелесть в старине. Но это неописуемо. Он находится в самом дальнем углу бухты. Отсюда начинается подъем.

Двадцать восемь серпентин!

Они вдохновили Северянина, и появилось стихотворение, где звучала повторяющаяся, как припев, эта строка:

«Двадцать восемь серпентин!» \*

Но я выдержал их героически, потому что машина была старого фасона, т.е. открытая\*\*. В закрытой меня бы обязательно укачало. Но по этой же причине скоро стало ужасно холодно. Сливинских, сидевших рядом впереди, грел мотор. Кроме того, на М.А. \* была тёплая ротонда. Но мы, трое прибуд, мёрзли. Кавалеры, Игорь и я, взяли Фелиссу в середину, т.е. между нами; чтоб ей было теплее. Но это мало помогло. И Северянка замёрзла не хуже меня. И руки у А.В. на волане [неразб.]; ведь он же не шофёр в самом деле! И поэтому он остановился у одного домика, где хозяева ему были знакомы.

Домик был из дикого камня, среди диких камней. Мы вошли. Бог мой! Посреди единственной комнаты довольно большой на земляном полу горел костёр, как в поле разводят. Над ним, над пылающим костром в крыше была дыра. Но дым в это отверстие не уходил весь; не успевал, и поэтому густое облако дыма стояло под крышей, над всей комнатой. Над самим костром оно, облако было багровое; дальше вокруг — сизое; в углах — чёрное. [...]

## 20.I.1951 г.

[...] Довольно о черногорцах. Мы согрелись в «дымной келье», пора дальше. Но дальше стало ещё холоднее. И это мешало любоваться видом, который считается одним из красивейших в Европе.

— Двадцать восемь серпентин!

Дорога теперь в хорошем состоянии, но повороты не ограждены. Изменит тормоз или дрогнет рука у А.В., и нас разобьёт на 28 осколков. Говорят, что черногорцы шофёры ездят тут, как под стать их натуре. И несчастья нередки. По мере того, как мы поднимаемся, раскрывается величественная картина. Распластывается «бока» (бухта), как шкура зверя; у этого апокалипсического чудовища вместо лап и хвоста - фиорды. За могучим барьером гор-скал, укрывающих залив от всех бурь, лежит необъятность моря. Оно все растёт в ширину вместе с каждым новым серпентином.



Игорь-Северянин и Алексей Сливинский. Предположительно, Ловчен.  
Январь 1931 года.

— Двадцать восемь серпентин!

Не знаю, с вершин Ловчена, по склону которого мы поднимаемся, в совершенно ясную погоду не видна ли Италия? Во всяком случае, она там, мечта всех поэтов.

Думают ли о ней северяне? Или просто стараются не замёрзнуть пред лицом красивейшего вида в Европе. Взяв последний, двадцать восьмой серпентин, мы перевалили через хребет на высоте свыше тысячи метров. И начали спускаться. И тут то начались наши испытания. По ту сторону Ловчана нас ждала снежная страна. Здесь северо-восточный склон и все обледенело. «Лунный пейзаж» скрыл своё мрачное уныние под белым флёром. Это могло бы быть прекрасно, если бы не было так опасно. Шины начали скользить. Серпентины, начиная с 29 того, пошли вниз и стали, благодаря гололедице, угрожающими. А.В. сильно замедлил ход. Все замолчали, чтобы не мешать ему; даже жена его, для которой молчать значит страдать. Так длилось до сумерек, когда стало ещё хуже. Машина зажгла свои огненные глаза. Они волшебными переливами бродили по искрящимся склонам гор, но мало помогали шоффёру. Когда совсем стемнело А.В. на мгновенье потушил фары; и тогда вдали мы увидели спасительные огни столицы Черногории.



Walter Percy Chrysler и модель Six. 1924.

\* \* \*

В гостинице было так холодно, что мы вздохнули о курной избе с ея багровым, горячим огнём; с сизым дымным, но тёплым облаком. Гостиница дорогая; а голая, как кафана! Ночь не была уютна.

\* \* \*

Утром, выйдя на улицу, мы увидели, что Цетинье засыпано снегом по уши. Главную улицу уже раскопали. По обе стороны мостовой стояли снежные стены в 2 метра вышиной. Впрочем, разве иначе может быть? Как никак они находились на высоте шестисот метров над уровнем моря, и был февраль\*, месяц, называемый «лютый» на славянских языках.

Что мы видели в Цетинье? Я ничего не помню [...] И возвращения домой, т.е. в Дубровник, тоже не помню.

\* \* \*

Северяне уехали. Но птички певчие прилетели ещё раз в Югославию. На этот раз они встретились с нами в Белграде. Это было в 1934 или в 1935\*. [...]

В это время мы опять жили вместе с женой\*. Она называла нашу квартиру «подвал Кривого Джимми». Подвал был чудный. На лучшей улице Белграда, на улице княгини Персиде. [...]

## 21. I. 1951.

Эта улица Персиде — Крунска, собственно говоря, была для нас не по чину. Тут всё были посольства или дома «знатных» людей. Злые языки называли её «улицей цареубийц». Как известно, династия Карагеоргиевичей пришла к власти после убийства короля Александра Обреновича и его жены королевы Драги\*\*\*. Убийцы были группа офицеров, проникнувшая во дворец. Эти люди стали знатными при новом короле и построились вблизи дворца. *Mors tua — vita mea*. «Смерть твоя — моя жизнь».

Прошло полвека, и Александр Карагеоргиевич\*\*\* был в свою очередь убит в Марселе группой Анте Павелича\*\*\*. Я сидел тогда в подвале «Кривого Джимми» и думал в согласии с Соломоном: *Vanitas vanitatum et omnia vanitas* «суета сует и всяческая суета». Немезида шла своей дорогой. В 1941 году Анте Павелич стал сугубо знатен; стал самодержцем «Независимой Хорватии»; а в 1945-м погиб смертью Хитлера и Муссолини. И сейчас кто то, конечно, живет на «улице цареубийц»; новые знатные люди. Но «подвала Кривого Джимми» уже нет; и некому философствовать вслед за Солоном: «ожидай конца долгой жизни».

\* \* \*

Туда, в этот уютный подвал, после удачливого «концерта»\*, мы привели Северян. Они были ещё во власти тех чувств, которые знакомили героям и жертвам публичных выступлений. Мучительное волнение «до эстрады», и радость одержанной победы после. И надо было это сладкое «после» как-то продолжить и победу чем-то отметить. Иногда это хорошо выходит в маленьком кружке людей, людей... я не знаю, как нас назвать с женой.

За время со встречи в Дубровнике у меня связь с Северянами не прекращалась. Она выражалась в стихотворной переписке. Они писали мне строчки, написанные изящной, но твёрдой рукой заправских поэтов; я посылаю им свои неуклюжие вирши — каждый по способности. Жена моя называла наше жилище «подвал Кривого Джимми»; а Северянка написала мне в стихах что-то, оваянное тонким сочувствием, но все же дело там происходило где то «у кривой сосны»\*. Я в то время телесно был ещё прям, как ель. Поэтому «кривость» какая то, очевидно, таилась в моей измотанной душе. Но, прямая или кривая, какая-то душевная связь между нами сохранилась. Мы встретились, как старые друзья. Марийка, жена моя, была намагничена в этот вечер. Она только что познакомилась



с «Игорь Васильевичем»; но «Игоря Северянина» она знала давно. Она была гимназисткой старших классов, когда он стал «повсеместно обэкранен». Известны впечатления молодости

«Воспоминанья юных дней...»  
Они всех поздних дней сильней,  
В душе таясь, мгновенья ждут,  
Когда вновь сердце разожгут.

И вот властитель этих юных впечатлений, вот он живой перед ней, вот он в подвале Кривого Джимми, чья кривизна, очевидно, прискучила. А Игорь Васильевич, как я уже, кажется, говорил, не разочаровал в Игоре Северянине. И вот... И вот они уютно объединились. Жена просила его прочесть те юные, прежние Игорь-Северянинские стихи — цветы которыми он прославился и прельстил многих. А он, хотя и стыдился их немножко «на эстраде», но внутри-сердечно тайно их любил. Обоим было поэтому приятно: у них была «общая молодость».

То отвращение, которое моя жена выказала к «какому-то Полевому», отчасти в этот вечер стало мне ясно. Её литературные вкусы отчасти сформировались под дуновением Игорь-Северянинской лиры. А он, если делать из него «синтезическую» вытяжку, был вызов старым формам. «Полевой» для моей жены был символом отжившей манеры. Северянин был ангел трубный какой-то нови.

Слова же «Сейте разумное, доброе, вечное...» в это время ещё до неё не дошли. Они дошли, но позже. Я же до конца ощутил примат содержания над формой только тогда, когда беседу с одной семидесятилетней дамой, доброй и бодрой умом и душой, стал предпочитать себя-любивому щебетанию молодых «эгоцентристок». Мне кажется, Северянка все видела и все понимала.

Пленительность эстонки:  
Глубины, что без дна,  
И чувства, что так тонки...

Беззвучна и бессловесна была наша с ней партия в том квартете, что звучал в этот вечер в «подвале Кривого Джимми». Впрочем, была и музыка, ощутимая на слух.

Пока жена хлопотала по хозяйству, я удобно, чтобы они могли отдохнуть, устроил гостей на низкой тахте. Она была крыта большим ковром, вывезенным мной из самого сердца Босны; там я тоже был и тоже философствовал. Ковёр этот с оттоманки перелезал на стену, захватывая её под самый потолок. Как полагается вообще честному подвалу, и этот,

наш, не был высотой с бальную залу. Всё вместе было уютно. Я рассказывал им о своеобразной поэзии Босны; но вовремя остановился. Чтобы быть занимательным, надо кончать за минуту перед тем, как слушатели заскучают. И принёс музыку. Да, самодельные некие гусли; их чаще называли бандурой.

«Взяв бы я бандуру  
Тай зограв, що знав,  
Але-ж с того дуру  
Сам бандурой став...»

Тридцать семь струн гитарных, натянутых... на что? На простую сосновую доску, снятую с кухонного стола. Когда нужен был резонанс посильнее, доска ставилась на ведро. И оно играло. Не хуже, чем однострунная черногорская гусли. Смотреть на это было

«И больно и смешно,  
А мать грозит ему в окно...»

Под матерью надо разуместь мачеху-судьбу. Но почему же грозит? За что? За то, что голь на выдумки хитра? У меня не было денег, чтобы иметь рояль или завести радио.

Нужда пляшет, нужда скачет,  
Нужда песенки поёт...

Бледные губы Северянки улыбались, а глаза зелёные говорили без слов:

— Вы могли бы жить на улице княгини Персиде и взять одну комнату.

Я отвечал мысленно:

— Да, могли бы. С милым рай и в шалаше?..

И прибавлял:

— Да. С милым. А с не милым? Или с полумилым?

Нет, уж лучше полведра воды вместо рояля; но за то две комнаты!

\* \* \*

Птички певчие улетели. Больше я их не видел. И не увижу. По крайней мере, Игорь Васильевича.

Игорь Северянин умер.

Последнее, кажется, его произведение была книжечка стихов под заглавием «Медальоны». Это было сто сонетов. Сто портретов в стихах. Огромная галерея лиц, в том числе и современных. Там должен быть и мой, скажем, профиль, китайская тень, силуэт\*.

Ах, дружба! Как и любовь, ты величайшая ценность. Но истина иногда страдает, когда ты заключаешь её в свои объятия\*.

Мой неизвестный читатель! Прошу вас не верить тому, что вы сейчас прочтёте.

\* \* \*

**Игорь Северянин обо мне:**  
**В.В.Шульгин.**

Он нечто фантастическое! В нём  
От дон-Жуана что то есть и дон-Кихота,  
Его призвание опасная охота,  
Но, осторожный, шутит он с огнём.

Он у руля, спокойно мы уснём!  
Он на весах России та из гирек,  
В которой благородство. В книгах вырек  
Непререкаемое новым днём.

..... несправедно гоним  
Он соотечественниками теми,  
Которые, не разобравшись в теме,  
Зрят ненависть к народностям иным\*.

\* \* \*

Он прислал мне это на обороте своей фотографической карточки. Я заключил её в двухсторонне стекло и повесил у своего письменного стола, в подвале Кривого Джимми. Естественно повесил лицом в комнату, чтобы он смотрел на меня своими добрыми глазами, когда я пишу плохие стихи ему или его жене. А текстом, т.е. моим «медальоном», повесил к стене, из понятной скромности. Не имея его, т.е. медальона постоянно перед глазами, я его не выучил, как следует; поэтому текст я, может быть, отдельные слова искажил или перепутал; а одной строчки начало совсем забыл; а в общем сонет сохранен моей памятью достаточно точно. Но «в видах восстановления истины» я обязан был, и я это сделал, исправить «медальон» Игоря Северянина. Исправляя по существу, я сохранил его размер и некоторые рифмы. Вот моё исправление.

### В.В.Шульгин сам о себе

Он пустоцветом был. Всё дело в том,  
Что в детстве он прочёл Жюль-Верна, Вальтер Скотта,  
И к милой старине великая охота  
С миражем будущим сплелась неловко в нём.

Он был бы невозможен за рулём!  
Он для судеб России та из гирек,  
В которой обречённость. В книгах вырек  
Призывов не зовущих целый том.

Но все же он напрасно был гоним  
Из украинствующих братьев теми,  
Которые не разобрались в теме.  
Он краелюбом был прямым.

22. I. 1951.

Последнюю строку прошу вырезать на моем «могильном камне». Плита может быть и ментальная, т.е. воображаемая, «мечтательная».

«Он краелюбом был прямым».

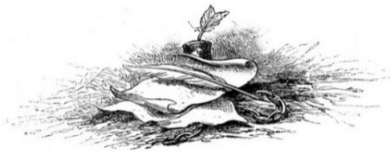
Это да будет начертано на одной стороне «памятника нерукотворного». На другой же да красуется эпитафия:

«Последние листы блаженством слез залиты.  
Но не грусти, перо, к тебе вернусь я вновь.  
Когда ударит гром и встанут мёртвых плиты,  
Я снова буду петь бессмертную любовь!»

\* \* \*

Я начал «во здравие» и кончаю «за упокой».

Но все же я «исполнил долг, завещанный от Бога мне грешному».





Югославия. Предположительно, 1934 год.  
Именно о таком портрете вспоминает Шульгин.



Фототаблица из тюремного дела

### Примечания к дневнику Шульгина

\**Дивертисмензы* — искажённое итальянское *divertimento* т.е. развлечение.

\**Lumbago* — радикулит.

\*Перикола — уличная певица (сопрано), героиня одноимённой оперетты Оффенбаха.

\**Так попали в этот дом и птички певчие* — Ср. Игорь-Северянин, «Гроза в Герцоговине» (стр. 47).

\**Русские стихи* — Игорь-Северянин пытался опубликовать стихи Фелиссы и даже написал к ним лестное предисловие. Через три года после описываемых событий Фелисса сожжёт тетрадь со своими стихами, о чём сообщит в Кишинёв другу семьи Лидии Рыковой.

\**Четвериков* — аберрация памяти, в действительности — *Лотарёв*.

Сравни в рассказе Игоря-Северянина «Моя первая встреча с Буниным»:

«10 мая 1938 г. я поехал из Саркуля в Таллинн на лекцию Бунина, совершавшего поездку по государствам Прибалтики. В России и в эмиграции я лично с ним никогда не встречался, всегда ценя его как беллетриста, а ещё больше как поэта. В Тапа наш поезд соединялся с поездом из Тарту. Закусив в буфете, я вышел на перрон. В это время подошёл

поезд из Тарту. Из вагона второго класса вышел среднего роста худощавый господин, бритый, с большой проседью, в серой кепке и коротком синем пальто с поднятым воротником: был серенький прохладный день с перемежающимся дождём. Я сразу узнал Бунина, но ещё медлил к нему подойти, убеждаясь.

Путник, заложив руки в карманы, быстро прошёл мимо меня, в свою очередь внимательно в меня взглядываясь, сделал несколько шагов и круто повернулся. Я приподнял фуражку:

— Иван Алексеевич?

— Никто иной как Игорь! — было мне ответом, из которого я усвоил, что мои познания в «Истории новой русской литературы» были несколько полнее».

\*Ингфрид — описка автора, правильно: Ингрид.

\*Болярина Петра Смирнова — намёк на смирновскую водку.

\**La fraideure de la femme* — фр. холодность женщины.

\**Sentait l'amour blanc* — фр. чувствовать чистую любовь.

\**Ему сейчас шестнадцать лет* — в действительности Вакху Игоревичу Лотареву шёл только восьмой год.

\**Restons la!* — фр. Оставь так!

\**Don Lumbago* — здесь, радикулит.

\**И мы весело покатали* — дата поездки 19 января 1931 года определяется по стихотворению Игоря-Северянина «Портрет Даринки» (Адриатика), посвящённого В.В.Шульгину. В примечании к стихотворению указано, что оно написано в Цетинье 20 января 1931 года, значит, из Дубровника выехали днём раньше.

\*А.В. — Александр Сливинский.

\**Природолюбивый кино* — так в тексте.

\* «...может сравниться с этим скромным авто?» — так в тексте.

\**Он у руля, спокойно мы уснём* — строка из сонета Игоря-Северянина «Шульгин». Сонет был написан тремя годами позже описываемых событий.

\*13 января, канун Старого Нового Года, день рождения В.В.Шульгина

\**Revenous a' nos moutons* — фр. вернёмся к нашим баранам.

\**Ядран* — Адриатическое море.

\**Миновав Цафтай дорога бросила море и ушла в горы* — аберрация памяти, имеется в виду Котор.

\**Конавлянки славятся своей красотой* — очевидно эта тема обсуждалась всеми участниками прогулки. Сравни в стихотворении Игоря-Северянина «Конавлянки» из сборника «Адриатика»:

Уже автобус на Конавлю  
Готов уйти. У кабачка  
Я с конавлянками лукавлю,  
Смотрящими изподтишка.

Они интеллигентнолицы.  
Их волоса, то смоль, то лен.  
Не зря презрительный патриций  
Был в их прабабушек влюблён! [...]

Красавиц стройность не случайна,  
Высокий рост и вся их стать:  
На них веков почил тайна,  
И им в наследственность — блистать.

*\*В Рагузе-Дубровнике имя Бонапарта ненавистно* — далее Шульгин пространно излагает версию происхождения конавлян и возвращается к поездке в Цетинье только 18 января 1951 года.

*\*Турска кафа* — кофе по-турецки.

*\*«Вы очень тоскуете по вашим мальчикам?»* — сыновья Шульгина погибли в Гражданскую войну.

*\*Тогда, в феврале 1932 года* — в действительности речь идет о январе 1931 года.

*\*Неистовый мой Орlando* — итал. «Orlando furioso», рыцарская поэма итальянца Лудовико Ариосто. Не совсем ясно, кого именно Шульгин называет этим именем. Запись от 18 января очевидно продолжает какую-то мысль Шульгина, которую он забыл изложить ранее в связи с поездкой в Цетинье.

*\*Двадцать восемь серпантин!* — строка из стихотворения Игоря-Северянина «Двадцать восемь».

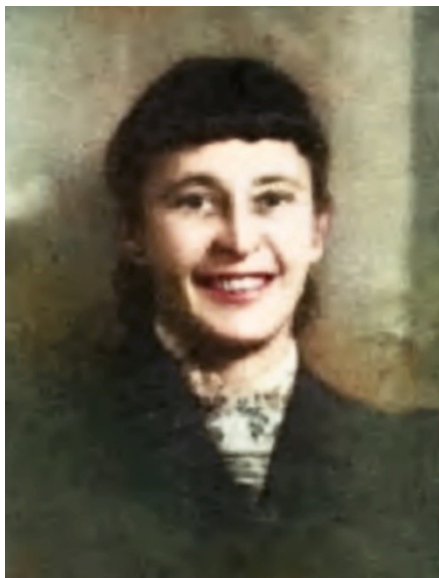
*\*\*...машина была старого фасона, т.е. открытая* — на фото запечатлён автомобиль Сливинского Craysler Six выпуска 1924 года.

*\*М.А.* — Мария Андреевна Сливинская. См. В.В.Шульгин «Тени, которые проходят», глава VII «Югославия», Брак с Марией Дмитриевной Седельниковой:

*«Через некоторое время, в конце августа или в начале сентября мы перебрались в Югославию. Мне припоминается, что мы ехали через Вену, где сели на пароход и поплыли вниз по течению Дуная.*

*Плывя по Дунаю, я осмысливал это путешествие. Мы ехали с тем, чтобы оформить наши отношения, обвенчавшись в Югославии. Развод мне дал с согласия Екатерины Григорьевны митрополит Евлогий в Париже. Она захотела только остаться Шульгиной, что и было*





исполнено. Конечно, не было никакой абсолютной необходимости в этом разводе. Все же и я причинял некоторые неприятности Екатерине Григорьевне и сыну Дмитрию. Да и Мария Дмитриевна не очень этого желала..

Отношения наши сложились удивительным образом. В Константинополе она пошла напролом, хотя я сказал ей и даже написал, что люблю ту, что умерла, и должен жить один. Она не обратила на это внимания и решила, что та забудется, и что хуже — её возненавидела.

Но мёртвые сильнее живых, потому что они не могут себя защищать. Эта ревность к покойной поставила между нами тяжёлую преграду. И много-много лет прошло и надо было претерпеть многие испытания, чтобы Мария Дмитриевна, наконец, сказала мне:

— Я ошибалась, она хорошая.

Отношения у Марии Дмитриевны с Екатериной Григорьевной были легче, потому что они познакомились и даже подружились. Когда Екатерина Григорьевна покончила с собой, Мария Дмитриевна, горько рыдая, говорила:

— Это я её убила.

Но это было неверно. Если кто её и убил, так это была её невестка, первая жена Димы. К ней она остро ревновала, считая, что Таня не любит достаточно нашего сына, то есть так, как любит его она, мать. До Екатерины Григорьевны не дошла заповедь: «Да оставит человек отца своего и мать свою, да прилепится к жене своей и да будут двое воедино». Но на самом деле все это были причины второстепенные.

Главной причиной было наследственное сумасшествие. В конце концов Мария Дмитриевна нашла ключ к нашим отношениям в латинской поговорке, которую она хорошо усвоила: «Nec sine te, nec tecum vivere possum».

Она желала повенчаться только ради своего отца, которого очень любила. Но я не был убеждён, что Дмитрий Михайлович этого так

*желал ввиду того, что я на двадцать два года был старше его дочери, мы с ним были почти одного возраста. Однако на мое письмо, в котором я просил руку его дочери, он ответил очень сердечным согласием».*

*\*Это было в 1934 или в 1935 — в 1935 году Игорь-Северянин за границу уже не выезжал. Речь идёт о весне 1933 года.*

*\*В это время мы опять жили вместе с женой — Мария Дмитриевна Шульгина (1898 – 1968). После ареста мужа в 1944 году она перебралась из Сремских Карловац в Венгрию, а после 1956 года приехала жить к Шульгину во Владимир.*

*\*Февраль — в действительности речь идёт о январе 1931 года.*

*\*\*\*Александр I Обрѐнович — король Сербии, последний из династии Обреновичей. Убит вместе с королевой Драгой в 1903 года. Престол заняла династия Карагеоргиевичей. Александр I Карагеоргиевич король сербов, хорватов и словенцев. Убит в Марселе в 1934 году. Анте Павелич — хорватский политический и государственный деятель, лидер националистического движения националистов — усташей.*

*\*«Удачливого» концерта — очевидно Шульгин имеет в виду выступление Игоря-Северянина 18 мая 1933 года в Русском офицерском собрании.*

*\*Дело там происходило где то «у кривой сосны» — «семейную» сосну Игоря и Фелиссы со стволом, раздвоенным в виде лиры до сих пор можно видеть в парке Тойла над левым берегом Пюхыйги, напротив гранитной скамьи. См. стих. Игоря-Северянина:*

В приморском парке над рекою есть сосна,  
Своею формою похожая на лиру.  
И на оранжевом закате в октябре  
Приходит девушка туда ежевечерно.  
Со лба спускаются на груди две косы,  
Глаза безумствуют весело-голубые,  
Веснушки радостно порхают по лицу,  
И губы узкия и длинные надменны...  
В неё, я знаю, вся деревня влюблена...

*\* Мой, скажем, профиль, китайская тень, силуэт - сонет «Шульгин» был написан после того, как рукопись «Медельоны» была отдана в издательство. Первоначально рукопись называлась «Барельефы и эскизы».*

*\*«Шульгин» — Шульгин крайне неточно воспроизводит сонет Игоря-Северянина. Ср. с текстом оригинала на стр.6.*

Василий Шульгин

## Тени, которые проходят

Фрагмент.

В этом трудном моем положении меня приютили на вилле Сливинского. Раньше он был просто Слива, но эта слива окончила Академию Генерального Штаба с занесением на почётную доску. К началу революции он был уже полковник, эмигрировал, в Югославии стал подрядчиком по строительству дорог, имел хорошие доходы и снимал прекрасную виллу на дороге Святого Иакова\*. Женат он был на Вишневской, и они пригласили меня перебыть у них тяжёлое для меня время. Я начал с того, что написал им стихотворение, начинавшееся так:

Во дни зари моей счастливой  
Был мне отрадой скромный сад,  
Там были вишенки со сливой —  
Тех дней мне не вернуть назад.  
Ударил гром. Все баромётры  
Упали в бездну с высоты.  
В мой бедный сад ворвались ветры,  
И пали деревья, как цветы...

Далее в стихотворной форме рассказывалось, как я попал в Дубровник и «...как я вновь расцвёл». Эти стишки совместно с многими другими превратились в книжонку под заглавием «Дубровачки дивертишки» («Дубровницкие развлечения»). Неисповедимыми судьбами через много-много лет эти «дивертишки» оказались у московских чекистов, где они, вероятно, и доселе пребывают.

Против же полковника Сливинского возникло обвинение, что он был не только немцефилом, но и немецким шпионом. Однако Сливинский со своею женою давно уже были недосягаемы для Москвы. Где они сейчас — не знаю, не знаю и живы ли они сейчас.

После отступления немцев из Югославии им удалось бежать еще и потому, что Мария Андреевна Вишневская-Сливинская накупила ковров на тридцать тысяч динар. Деньги оказались потерявшими цену бумажками, а ковры превратились в валюту.

\* \* \*

На этой вилле у «Сливовишневских» одновременно со мною оказалось и супружество Северяниных — поэт Игорь Северянин с женой-эстонкой. Последней в связи с нашим знакомством я написал стишки, вошедшие в «дивертишки».

Пленительность эстонки —  
Глубины, что без дна.  
И чувства, что так тонки,  
И долгая весна.  
Блажен ваш друг, Фелисса.  
Мечты? Мечты его сбылися...

И вот я с ними подружился — с Игорем и Фелиссой Северяниными. Супружество это было, можно сказать, птичками певчими, бездомное и нищее. Она его когда-то нежно любила. Не разлюбила и сейчас, но стала презирать. Он запивал. Этого было бы недостаточно, но он давал священные клятвы, что бросит пить, и этих клятв не сдержал. Некоторое время он ничего не пил, то есть абсолютно ничего. Но если он где-нибудь случайно выпивал маленькую рюмку слабого вина, то кончено — наступал период горького запоя.

Презрение её выразилось как-то и в следующем. У них был сын-подросток, который остался в Эстонии на попечении бабушки, матери Фелиссы. Но она с горечью в голосе сказала о нем:

— Это не мой сын. Это сын Игоря.

— От первого брака? — спросил я.

— Нет, я его родила, но он не мой сын.

Это, конечно, были чувства, «что так тонки», но нормальным людям непонятные. Она думала, что её сын неизбежно пойдёт по стопам отца, и поэтому презирала и того и другого.

\* \* \*

А пока что наступил февраль и зацвёл миндаль.

Миндальный цвет — венчанье роз со снегом.

Ещё зима, когда цветёт миндаль,

Но сердце ждёт весеннего набега,

Стремясь в разбуженную даль.

В один из уже довольно тёплых февральских дней\* Сливинский предложил нам — Северяниным и мне — проехаться в столицу Черногории Цетинье. У него был автомобиль, и он собирался туда по своим делам.

Поехали. По дороге, хотя это было вовсе и не по дороге, мы заехали в городок Пераст, находившийся в глубине Боки, то есть Которской бухты. Пераст находился в совершеннейшем запустении. Все дома были завиты плющом, и никто в них не жил. Но центральный дом существовал в качестве некоего музея. В этом доме когда-то была школа для моряков. Пётр Великий поместил в неё своих молодых людей, сам приезжал сюда и расписался в книге почётных посетителей.

До этого Пераст был средоточием смелых купцов-мореплавателей, которые с течением времени превратились в морских разбойников, и здесь было их разбойничье гнездо, пока его не ликвидировали.

Мы доехали по берегу залива до крайнего уголка городка, который тоже назывался Котор (или Каттаро, как называют его итальянцы), где стояла очень чтимая католическая церковь. В тот день здесь было просто тепло, а летом стояла потрясающая жара. С этого места дорога начинала подниматься в горы. До перевала, находившегося на высоте тысячи метров, она делала двадцать восемь серпантинов, то есть петель. На этой высоте совершенно замёрзший в своём худом пальтишке\* Игорь Северянин уже сочинил стихи, которые так и назвал — «Двадцать восемь серпантин».

Панорама с каждым серпантином разворачивалась все шире и море высоко захватывало небо. Становилось все холоднее, но Сливинский, хорошо и тепло одетый, не замерзал в открытой машине. Движение становилось положительно опасным. Стало темнеть, луна светила мало, серпантины замёрзли, машина начала скользить и могла сорваться. Но ничего, никто не боялся, потому что Сливинский вёл машину уверенно и в то же время осторожно. Вскоре начался спуск. Цетинье — некогда самая высокая столица в Европе — все же находится на высоте шестисот метров.

\* \* \*

Я забыл рассказать, что на половине подъёма Сливинский остановил машину напротив одноэтажного дома, ему знакомого. Мы вошли и увидели, что внутри не было никаких комнат, один большой зал, в центре которого горел костёр на земляном полу, вокруг него сидели люди. Наверху не было никакого потолка, только крыша, под которой было облако дыма серо-багрового цвета, излучавшего какое-то тепло. Нас немедленно пригласили к костру, и мы сели на низенькие треножники. На костре варился кофе в маленьких медных стаканчиках с длинными деревянными ручками. Их держали над огнём, пока кофе не вскипал. Тогда предлагали его гостям. Кофе был хорошего сорта. Как бы ни был беден черногорец или серб, он пьёт дорогой кофе, который несравнимо лучше той бурды, которую пьют французы.

Гостеприимство вообще священо в Черногории, а особенно в отношении русских. Русские могут совершенно свободно идти через эти мрачные скалы, и их никто не тронет. Александр III ежегодно посылал из Одессы большой пароход, гружённый мешками с мукой. Это и тогда помнили черногорцы. Но черногорское гостеприимство имеет свои особенности. На ночь расстилается на земляном полу большой ковёр, а поверх него такое же одеяло. И там спят все хозяева и все гости. И если

ночью какой-нибудь гость позволит что-либо в отношении какой-нибудь девушки или женщины из этого дома, то его не тронут, пока он гость. Когда же он покинет гостеприимный кров, его защищавший, и тем самым перестанет быть гостем, он будет убит.

О черногорцах можно ещё сказать, что они своих женщин презирают. Можно встретить на дороге осла, на котором сидит черногорец такой громадный, что ногами достаёт до земли, а рядом идут жена, дочь, мать и несут поклажу. Если же спросить этих женщин, как же это возможно, они ответят: «Мужчина не должен работать. Если он будет работать, кто же будет нас защищать от врагов?».

В соответствии с этими нравами черногорцы, спустившиеся вниз и ставшие рабочими, работают плохо и очень ленивы. [...]

\* \* \*

Когда мы, наконец, добрались до цели нашего путешествия, Цетинье засыпало снегом. По обеим сторонам улиц стояли снежные стены высотой до двух-трёх метров. За номер в гостинице запросили сорок динар и за отопление ещё столько же. Мы, пролетарии (Северянины и я), ничего не платили, за всех и за все расплачивались вишенки и сливы.

Переночевав, мы без печали и тени сожаления покинули холодную столицу.

\* \* \*

Позже Северянины приехали в Белград. Там они познакомились с Марией Дмитриевной, и мы подружились семьями, были на их выступлениях в каком-то зале\*. Фелисса тоже писала стихи на русском языке и читала их с акцентом, но приятно. А Игорь оказался в жизни совершенно непохожим на свои давнишние стихи. Мария Дмитриевна принадлежала к тому поколению русских девочек, которые им увлекались. Им нравилось некоторое нахальство, свойственное стихам Северянина. В подробностях я этого не помню, но в памяти осталась одна строка из его старого стихотворения: «Я повсеместно обэкранен». Уже во времена нашей дружбы я продолжил его:

Он повсеместно обэкранен,\*  
Но обрónзит свой гранит.  
Стал южным Игорь Северянин.  
Он иго севера казнит.

Надо сказать, что в это время Игорь уже был в резкой оппозиции к «северу», то есть к советской власти.

Лицо же у него было скорее южное, с темным загаром. Голос?

Достаточный для публичных выступлений, но глухой и совершенно «чёрный» по тембру, так как мне голоса представляются имеющими цвет. Читал он просто и без всякого нахальства. По содержанию стихи были совершенно новые и воспевавшие ушедшую Россию.

Прежние стихи он читал у нас «в подвале кривого Джимми» по просьбе Марии Дмитриевны (так она называла нашу квартиру). Читал с видимым удовольствием, а она в это время вспоминала свои молодые годы, в то время как я изучал пленительность эстонки. Таким образом, квартет был удачным.

Мы не могли предложить гостям ничего, кроме скромного ужина и некоторых развлечений. На письменном столе у меня стояла загадочная фотография. Это был фотографический снимок с рисунка, исполненного пером на манер гравюры. Я ложно объяснял своим гостям, что привёз эту фотографию из Рагузы, где в одном из монастырей была эта картина.

На ней, на переднем плане, в очень трудном ракурсе, головой к зрителю, лежала на груди молодая женщина, разметавшая черные волосы по каменным плитам, по всем правилам перспективы, уходившим вглубь. А там, в глубине, был вход, зигзагами прорубленный в камне, вход в некую пещеру. По обе стороны этого входа стояли два чудовища. Слева — не то медведь, не то горилла. Справа — на каком-то каменном ящике нечто вроде зербера. Около чудовища-гориллы стояла в белом покрывале совсем юная девушка четырнадцати-пятнадцати лет. Она, казалось, хотела войти в пещеру. Её видно было со спины и очень мягко вычерчивалась почти детская щека. Она изображала душу. А женщина, лежавшая на полу и которая была постарше, была умершим телом.

А что же было в пещере? Великая теснота человеческих голов. Одна из этих голов мне запомнилась. Я встретился с этим человеком через много лет во Владимирской тюрьме. Это был венгерский цыган-уголовник, убийца и грабитель.

Всю эту картину обрамляла рама, которая тоже была ломаной скалой. На ней был профиль Данте, очевидно, в связи с Дантовым адом, ещё какие-то чудовищные женщины и просто идолы камня. [...]

\* \* \*

В тот вечер у нас в «подвале» Игорь Северянин рассказал, что им выпущена книжечка, названная «Медальоны». Это были сонеты, посвящённые разным лицам русской эмиграции, чем-либо о себе заявившим или привлёкшим его внимание. Медальонов было сто. Позднее прибавился сто первый, который уже в книжечку не вошёл. Этот сто первый медальон он посвятил моей скромной персоне. Мне совестно его записы-

вать, так как я в этом сто первом медальоне сильно идеализирован. Но, как говорят, из песни слова не выкинешь, поэтому привожу сонет номер 101:

**В.В.Шульгин**

Он — нечто замечательное.  
В нем от Дон Жуана что-то есть и Дон-Кихота.  
Его удел — опасная охота,  
Но, осторожный, шутит он с огнём.

Он у руля — спокойно мы уснём.  
Он для России та из гирек,  
В которой благородство. В книгах вырек  
Непререкаемое новым днём.

...Неправедно гоним  
Он соотечественниками теми,  
Которые, не разобравшись в теме,  
Зрят ненависть к народностям иным.

На это я написал сонет номер 102, где изобразил себя самого гораздо реальнее и ближе к истине. Не помню ничего, кроме одного четверостишия:

Дитя Дюма и Жюля Верна  
Шёл по дороге верной.  
Но, соблазняясь всякой скверной,  
Так никуда и не дошёл.

\* \* \*

У нас с Северяниным установились очень тёплые и дружеские отношения. Мы переписывались, а когда они приезжали в Югославию — виделись.

Между прочим, я написал им без конца и без начала о себе:

Жилец иной эпохи  
Иду своей межой.  
Мне нынешние плохи,  
Я тоже им чужой.

А, впрочем, все не ново.  
Средь нашей суеты  
Я вижу Гончаровой  
Знакомые черты.



Так правьте же, «Дантесы»,  
Чарльстонющей Землёй,  
И пусть возьмут вас бесы.  
Я — убеждённо злой.

Буравя ваша тесто,  
Упряма, как волнорез.  
Иду в другое место,  
Там ждёт меня невеста.  
Невеста, где Бог любви воскрес.

\* \* \*

Однажды я собрался поздним пароходом плыть по Дунаю в Земун, где мы, собственно, жили, а Мария Дмитриевна в тот вечер оставалась в Белграде. Поджидая пароход, я сидел в маленькой кафане, как вдруг появилась эстонка, ведшая за руку мою жену.

— Никуда вы не поедете, — категорически заявила Фелисса, — а мы сейчас же вернёмся в подвал кривого Джимми, где поужинаем и Игоря покормим.

Мария Дмитриевна её поддержала, и мы отправилась в наше белградское жилище, где и провели тот вечер, читая стихи и рассказывая разные забавные случаи из нашей жизни.

\* \* \*

Где живут птички певчие? Нигде. Они порхают из страны в страну, подлетают к тому окошку, где на подоконнике просо. Иногда стучат в окошко. У них нет никакого имущества, никакого багажа. Они осуществляют полностью римскую поговорку: «*Omnia mea mecum porto*» — «Все, что у меня есть, несу с собой».

Так и Северяне. Если бы они были совсем дружны, то ничего другого им и не надо было. Другая поговорка говорит: «Лёгкий багаж — лёгкие мысли».

Я не очень точно знаю о судьбе Северянина. Мне кажется, что перед смертью он вернулся в Россию и здесь его не очень обласкали, так как в общем его направление было антисоветское. Но и не преследовали. Дали догореть свече.

Она, мне кажется, ещё недавно жила в Эстонии, то есть на своей родине в узком смысле. Может быть, Фелисса обо мне помнит, а может, и нет. Надеюсь, на том свете мы когда-нибудь увидимся.

[Источник: В.Шульгин. Тени, которые проходят. Нестор-История, СПб, 2012.]



Табличка с названием улицы Флоры Якшич, на которой находится Villa Flora Mira

### Примечания к «Теням, которые проходят»

\*...снял прекрасную виллу на дороге Святого Иакова — вилла Flora Mira, которую снимал Сливинский, принадлежала художнице Флоре Якшич и находилась на выезде из Дубровника, в районе залива Lapad. Сегодня это просто Galerija Flora на улице Флоры Якшич. В сотне метров от виллы располагается современный пляж Sunset Beach.

\*В один из уже довольно тёплых февральских дней — в действительности речь идёт о январе 1931 года.

\*... в своём худом пальтишке — на фото, сделанном на следующий день Игорь-Северянин одет в поношенное пальто с воротником из ламы.

\* Он повсеместно обэкранен — в 1913 году как будто был снят фильм по мотивам одной из поэз Игоря-Северянина, но в списке российских фильмов за период с 1911 по 1918 годы его нет.

\*...были на их выступлениях в каком-то зале — очевидно Шульгин имеет в виду выступление Игоря-Северянина 18 мая 1933 года в Русском офицерском собрании.

\*Сонет Игоря-Северянина «Шульгин» см. в разделе «От автора».

\*«Сонет 102» полностью смотри на стр. 27:



Ресторан «Три Шешира» (Три шляпы) в Белграде.

**Игорь-Северянин  
Софии Карузо**

Тойа, 8 января 1932 г.

Дорогая София Ивановна! Ваше письмо на Белград я получил 20.ХП, в день своего из Софии возвращения,— благодарю Вас. Мы провели в Болгарии пять недель. Я дал по два концерта в Софии, Пловдиве и Плевне, по одному в Стара Загора, Казанлыке, Сливене и Тырново. 27-го дал концерт в Белграде, а 28-го вечером мы выехали прямо домой, куда и приехали первого в 10 ч<асов> веч<ера>. 22-ое декабря провели в Сараево у одной милой русской женщины\*, с которой познакомились в прошлом году, а 23 — 25-ое в Дубровнике у своих друзей Сливинских, арендующих прелестную виллу с окнами на Адриатику. Странное было Рождество: 22 градуса тепла, все гуляли без пальто, цвели всюду розы, мимозы, глицинии, зрели мандарины и апельсины... И вот такая резкая сразу перемена! морозы, снега, вьюги. И это так пленительно. Усталость очень большая: семь ночей мы почти не спали, т. к. ночь в Белграде в счёт идти не может: концерт затянулся, после него 16 человек устроили ужин в «Грех шеширах», и ужин этот окончился только в 4 ч. у., а в 8 мы были уже на ногах. Я спешу написать Вам — приветствовать Вас и поздравить с прошедшими праздниками Р. Х. и Новым Годом. Я очень доволен своей оздой, которая, несмотря на кризис, оказалась, благодарение Богу, довольно удачной. Когда немного

приду в себя, напишу Вам побольше. Вы же, не ожидая, напишите мне теперь же, — я так люблю Ваши строчки.

Целую ручки Ваши.  
Неизменно с Вами  
Игорь—

---

\* ... у одной милой русской женщины — Валентины Васильевны Берниковой, близкой знакомой поэта из Сараево.

\* Карузо София Ивановна, урождённая Ставрокова (1893-1985) — выпускница института благородных девиц в Харькове. Замужем за обрусевшим итальянским графом Александром Григорьевичем Карузо. В 30-е годы состояла с в переписке с поэтом. Сын Софии Ивановны граф Игорь Карузо (1914-1981) в Эстонии женился на Ирине Грауэн (Grauen, 1914-2003) — дочери обрусевшего немца Андрея Яковлевича Грауэн, жил в Эстонии и встречался с поэтом. Графиня Карузо умерла в Австрии. Поцелуй, описанный в стихотворении «Лилия в море», случился в Харькове 2 марта 1915 года, на 3-м поэзовечере в зале Общественной библиотеки:

Она заходила антрактами — красивая, стройная, бледная,  
С глазами, почти перелитыми всей синью своей в мои,  
Надменная, гордая, юная и все-таки бедная-бедная  
В ей чуждом моём окружении стояла, мечту затаив.

Хотя титулована громкая её мировая фамилия,  
Хотя её мужа сокровища диковинной всяких чудес,  
Была эта тихая женщина — как грустная белая лилия,  
Попавшая в море,— рождённая, казалось бы, грезить в пруде...

И были в том вычурном городе мои выступленья увенчаны  
С тюльпанами и гиацинтами бесчисленным строем корзин,  
К которым конверты приколоты с короной тоскующей женщины,  
Мечтавшей скрестить наши разные, опасные наши стези...

Но как-то все не было времени с ней дружески поразговаривать:  
Иными глазами захваченный, свиданья я с ней не искал,  
Хотя и не мог не почувствовать её пепелившего зарева,  
Не зная, что она — переполненный и жаждущий жажды бокал...

И раз, только раз, в упоении приёма толпы триумфального,  
Спускаясь со сцены по лесенке, ведущей железным винтом,  
Я с нею столкнулся, прижавшейся к стене, и не вынес печального  
Молящего взора — дотронулся до губ ещё тёплым стихом...

Тойла. 1930.



София Ивановна Ставрокова в замужестве Карузо.



Подарено автором:

*«Милому Игорю В. Северянину — великому русскому поэту на память о днях, проведённых вместе в Дубровнике. 24.I.31. А Сливинский».*



Hrr Igor Severjanin Toila Estonie  
15/X 32

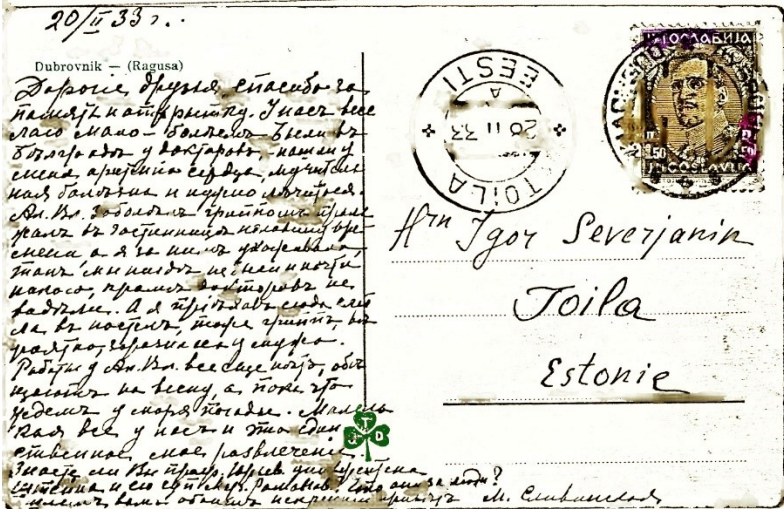
Дорогие Фелисса Михайловна и Игорь Васильевич. Вчера Мар<рия> Андреевна поймала сто рыбок и очень довольна. Сегодня я возвратился из Белграда, к сожалению положение наше сегодня невыясненные, безобразна моя **изо<?>ия**. Долго ли останемся в Дубровнике и сами не знаем. Не хотим терять связи с вами. Напишите из **За<?>**. Самый искренний привет Вам. Ал<ексей> Сливинский.

\*\*\*

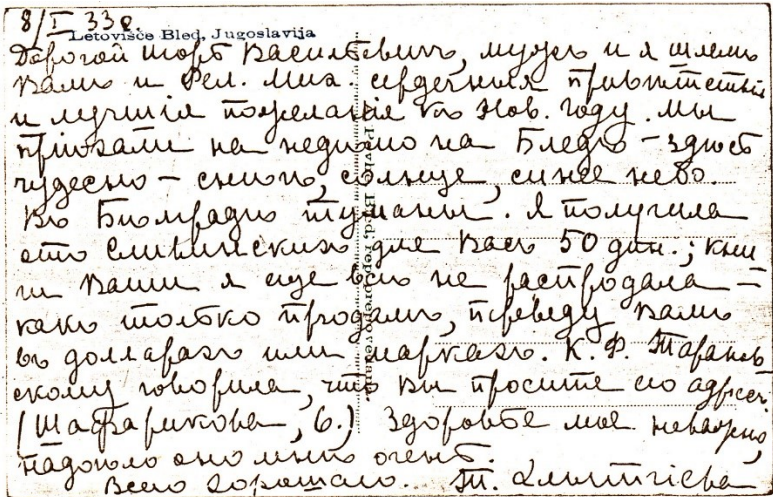
Hrr Igor Severjanin Toila Estonie  
20/II 33 г.

Дорогие друзья спасибо за память и открытку. У нас весёлого мало — болеем. Были вчера в Белграде у докторов нашли у меня аритмию сердца мучительная болезнь и нужно лечиться. Ал<ексей> Вл<адимирович> заболел гриппом и пролежал в гостинице половину времени, а я за ним ухаживала, там мы нигде не были и почти никого кроме докторов не видели. А я приехав сюда слегла в постель, тоже грипп, вероятно заразилась от мужа. Работы у Ал<ексея> Вл<адимировича> всё ещё почти общественные на весну, а пока что ждём у моря погоды. Маленькая всё у нас и это единственное моё развлечение. Знаете ли вы проф<ессора> Юрьев<кого> университета Штенна и его суп<ругу> Мар<рию>. Романов.? Что они за люди? Шлём вам обоим искренний привет. М<ария> Сливинская

→



Татьяна Хлытчиева\*



«...Я получила от Сливинских для Вас 50 дин<ар>; книги Ваши я ещё все не распродала — как только продам, переведу вам в долларах или марках...»

\* Хлытчиева Татьяна Ивановна — жена русского инженера Якова Матвеевича Хлытчиева жила в Белграде и состояла в переписке с поэтом.



## Игорь-Северянин

### Гроза В Герцеговине

Отсыяло лето 1930 года, весёлое и журчливое, уехала в Таллинн моя неизменная спутница-форелистка, готовая ловить «алокрапчатых стрелок» и под проливным дождём, и снова Тойла, спрятав до весны своё рядное зелёное платье с сиреновой отделкой, облачилась в затрапезную жёлтую кофту осени...

Прихрамывая, приближался октябрь. В его седой улыбке таилась безнадежность.

— На юг? — спросил я Ирис. Она ответила утвердительно. В эту осень мы решили поехать в Югославию. Билеты купили до Белграда. Мы там не знали решительно никого. Одно нам было известно: к русским писателям там относятся бережно и радушно. Незадолго перед этим в Белграде был съезд зарубежных писателей. Король Александр принимал их сердечно.

В Риге мы пробыли дня два. Проездом.

— Не хотите ли зайти к Финку? — осведомился у меня знакомый доктор.

— Как хорошо, что Вы мне напомнили об этом: я уже давным-давно хотел с ним соприкоснуться. Я верю в него, его не зная: интуицией.

Но доктор слегка охладил мой порыв:

— Должен, однако, вас предупредить, что он отнюдь не со всеми «потусторонне» разговаривает. Он избегает подобных встреч, но мы все же попробуем. Пойдём со мной вместе.

На наш звонок дверь открыл нам сам ясновидящий.

— В настроении ли Вы сегодня побеседовать с моим знакомым? — спросил доктор, указывая на меня и не называя меня по моей просьбе.

— Что нужно ему от меня? — с каким-то недружелюбием в лице и в голосе воскликнул прорицатель: — Он сам не хуже меня может предсказывать людям их судьбу. — Затем он стал отплевываться:

— Фу, какими мерзкими людьми окружены Вы! Гоните их прочь от себя поскорее... Впрочем, раздавайтесь и входите, — гораздо уже любезнее сказал он.

— Прежде всего меня интересует, знаете ли Вы кто я? — спросил я у него, прямо смотря ему в глаза.

— Во всяком случае, человек искусства. Может быть, художник, композитор, артист.

— Куда мы едем? — задал я ему второй вопрос.



Евгений Финк. Рига. Предположительно вторая половина 20-х.

— Вы едете на юг. К дальнему тёплому морю. Апельсины, пальмы...

(Тут я должен заметить, что мы южнее Белграда не собирались ехать. От него же до Адриатики тридцать шесть часов езды.)

— Благоприятна ли будет наша поездка? — О, да! Да! Много успеха, денег, славы! Пойдите, пойдите... О! Я вижу крушение поезда... Стоны, кровь... Трупы...

Он нервно, очень возбуждённый, прикрыл рукою глаза. И вдруг просветлел вновь:

— Нет. Вас это не коснулось. Вы — живы. Даже не пострадали. Ясно вижу. Я вижу ещё большой дом. Замок как будто. Тоже на юге. Вы вернётесь оттуда и снова туда поедете. В какой красивой местности находится этот замок! Горы, цветы, вода.

Он заметно входил в транс. Я почувствовал прилив вдохновения: волосы шевельнулись на голове, по спине пробежал знакомый холодок. У нас создавался редкостный контакт.

— Первый человек, которого вы встретите на юге, будет носить имя Алексей. Запомните это. Второй, которого вы увидите, Александр. Но только остерегайтесь рыжих: у Вас нет против них противоядия. Берегитесь!

Вдруг он взглянул на мой правый бок.

— Болит? Ничего. обойдётся без операции. (Замечу в скобках, что за два месяца перед этим знакомые врачи советовали мне оперировать слепую кишку.)

Во время нашего разговора Ирис, почти не мигая и, видимо, смутно взволнованная, смотрела на Финка. И внезапно он обратился к ней:

— У Вас слабые глаза? Об очках думаете? Рано, рано. Ещё не настало время. (А врачи только что перед этим настаивали на очках! Вот уже десять лет прошло, а она и теперь с ними не познакомилась!)

— Все спорите с Вашим другом? — продолжал он, смотря на неё: — Все разногласия? Осуждаете его за многое? Подумываете, — тут он взглянул и на меня, — о расставании? Бросьте, не советую. Счастье отвернётся от каждого. Люди вы разные, но везёт вам до тех пор, пока вы вместе. Бойтесь лошадей, — обратился он уже к одной Ирис. И устало смолк.

Тогда я представился ему, крепко пожал руку и прочёл с исключительным подъёмом — в благодарность, каждому слову его веря, — «Весенний день».

Финк захотел снять нас и сделал восемь разных снимков — высокохудожественных, приятно-схожих. Просто необыкновенно!



Игорь и Фелисса. Фото Евгения Финка. Рига, 1930.

В Белграде первый человек, с которым мы через три-четыре дня познакомились, оказался сотрудником «Нового времени» Алексеем Ивановичем Ксюниным, второй — председателем державной комиссии по делам русских эмигрантов, ректором университета и воспитателем престолонаследника Петра, академиком Александром Ивановичем Беличем.

Уже из этого одного видно, что два предсказания сбылись в первые же дни.

Приём, оказанный мне в Белграде, был исключительным, мы пробыли в Югославии около трёх месяцев. Я давал вечера стихов в громадном зале университета, читал в Русском научном институте лекции о Фофанове и Сологубе, получил бесплатный билет первого класса по всей стране, был командирован Державной комиссией в русские кадетские корпуса и женские институты для чтения молодёжи своих стихов, очень выгодно издал свои книги и, наконец, посетив около десятка городов, решил, пользуясь билетом, поехать взглянуть на Адриатику, куда мы и выехали в средних числах января 1931 года.

В Белграде было два градуса мороза, дул пронзительный, леденящий дыхание ветер. К утру (выехав в 10 часов вечера) мы ехали уже по гористой, живописной Боснии, несколько часов подряд долиной Дрины, мелькали бесчисленные тоннели и мосты, поезд взбирался все выше и выше, и, наконец, почти уже на закате, прибыли в нагорное Сараево, где мороз доходил уже до двенадцати градусов. Дав в этом красочном и историческом городе вечер стихов и завязав интересные знакомства, на другой день к вечеру мы пустились в дальнейший путь — на Дубровник (Рагузу), куда и попали к полудню следующего дня. Ночью мы проехали Герцеговину, унылую и каменисто-хаотическую. Вдруг из окон вагона перед нами заизумрудило море, поезд уступами стал спускаться к нему, все быстрее, все ниже, наконец он остановился, мы вышли из вагона, — и какой воздух! Какая теплота! Какой восторг! Солнце ярко сияло, небо — сплошная синь, пальмы, агавы, апельсины, мимоза, роза, глицинии! Все это произошло так внезапно, что буквально нас потрясло. Итак, мы были в Далмации, обворожительной и почти неземной. О её воздухе ничего нельзя сказать словами: его нужно почувствовать, его нужно вдыхать самому, чтобы иметь о нем представление. Нигде и никогда, ни до, ни после такого воздуха я уже не встречал.

В одном из своих стихотворений я назвал его «дыханьем Божества», в другом сказал, что «на Бога воздух был похож» [«Это не веянье воздуха, а дыханье божества. В дни неземные, надземные Божеского рождества». Дубровник (Рагуза), вилла «Флора мира», 1931, 24 дек.]. Ничего более точного я не мог придумать. На дебаркадере вокзала к нам подошёл господин среднего роста, очень похожий на Наполеона, и представился нам:

— Полковник ген. шт. А. В.Сливинский. Узнал из газет, что сегодня утром Вы приезжаете в Дубровник, счёл своим долгом Вас и Вашу спутницу встретить и просить оказать мне и моей жене честь остановиться у нас в доме. Мы живём по правому берегу моря в трёх километрах отсюда. Моя машина — в Вашем распоряжении.

Мы, конечно, с удовольствием приняли его приглашение. Автомобиль быстро понёсся по дивно-шоссированной дороге на его дачу «Флора мира».

Мария Андреевна, его жена, встречала нас на белом открытом балконе. Апельсины и нэспали [*несполи* или *мушмула* — плодовое дерево] вплотную приникали к нему. Мы пили кофе в одних костюмах, было двадцать два градуса тепла. Адриатика (или по-местному Ядран) веяла на нас своим воздухом — Богом. Весь покрытый лесами остров Локрум темно синел как раз против дачи. Вдали угадывались берега Италии около Бриндизи. Даже кто не родился поэтом, можно было им стать!..

Вскоре к кофе спустился из своей комнаты во втором этаже единственный гость этой симпатичной четы, живший у них почти всю зиму, б. член Госуд<арственной> думы, обаятельный собеседник, Василий Витальевич Шульгин.

Прожив несколько дней в Дубровнике и тщательно с ним ознакомившись, дав вечер стихов в городе, где когда-то блистала загадочная и приманочная соперница Екатерины Великой — Dame d'Azow (мы даже осмотрели её полуразрушенное палаццо), я говорю, дав вечер стихов, среди которых я с особенным настроением прочёл стихи о ней самой, мы, развлекаемые всячески нашими любезными хозяевами, однажды утром сели в открытую машину и помчались вдоль Адриатического моря через Ерцегови и Каттаро, туда, за Ловчен, в занесённую снегами и уютную Черногорию — в Цетинье.

Перевал через Ловчен навсегда останется в моей памяти: двадцать восемь зигзагов каждый километр длиной, 2.800 фут. над уровнем моря. Сверху Каттаро казалось нам игрушечным городком, церкви были не более спичечного коробка! Внизу тропическая природа, на вершине — снег и десятиградусный мороз. На обратном пути на одном из зигзагов мы едва не погибли. Южное солнце склонялось к западу, разогретые им снега стали вновь застывать, образуя гололедицу. Задние колеса автомобиля занесло к самому обрыву. Сливинский мгновенно, в последнюю минуту остановил мотор. Воцарилась зловещая тишина: казалось, мы обречены...

— Не шевелитесь, — тихо и повелительно сказал он.

— Саша, опасно? очень? — успела шепнуть его жена.

— Попробую, — беззвучно прозвучал его голос. Рискованным рывком машины Александр Владимирович даровал себе и всем нам жизнь!..

Между прочим, характерная черта: за завтраком в Цетинье, когда мы все выпили по несколько стаканов вина, наш «возница» наотрез от него отказался.

— Слишком ответственный путь, — заметил он. И, может быть, его мудрое воздержание спасло нас.

Наконец мы собрались ехать обратно в Белград, чтобы оттуда, заехав на один день в Люблян (Лейбах), где назначен был мой вечер, направиться через Инсбрук и Швейцарию в Париж.

На вокзале в Дубровнике собрались все наши спутники по прекрасной и такой жуткой поездке в Черногорию — чета Сливинских и Шульгин. Поезд отошёл от станции в одиннадцать часов вечера. Все купе утопало в цветах заботливостью наших друзей. Кстати: в поезде было два вагона первого класса — около багажного и в конце. Я попробовал было



Алексей Владимирович Сливинский.  
На мундире знак об окончании Николаевского инженерного училища в  
Санкт-Петербурге.

войти, конечно, в последний, но там была публика, мне же хотелось, как всегда в таких случаях, отъединения.

Волей-неволей пришлось занять купе в головном вагоне. Все остальные купе были пусты. Только в одном из них сидел немец-турист. Вскоре после отхода поезда пролилась ослепительная и звонкая южная гроза. Бесперывные молнии были похожи на лиловые причудливые ро-счерки ярко-индивидуальных автографов. Горы гремели вдохновенно и угрожающе. В купе было четыре двигающихся кресла, образующих два дивана. Мы приготовились спать. Я лёг у правого окна ногами провозу, Ирис — у левого головою к нему. Разговаривая и восторгаясь лучезарящимся и грохочущим «небесным водопадом», мы незаметно уснули.

Под железно-каменный грохот наш вагон с креном девяносто градусов, — в длину, — летел в бездну. Ирис падала головою вниз, я — ногами. В душе — чувство смерти. Страха, — я это утверждаю, — не было. Было, скорее, чувство обречённости. Возможно, мы просто не успели испугаться: падение продолжалось несколько секунд. Вагон внезапно во что-то упёрся. Меня треснуло головою о стенку. Удар был смягчён бархатной обивкой. Все же синяк получился изрядный. Ирис никак не пострадала. Добавлю ещё один штрих: во время падения между нами, — это незабвенно, — произошёл следующий диалог:

— Кажется, гибнем?

— По всей вероятности, — спокойно отвечала она. Когда вагон прекратил падение, и чемоданы очутились где попало, к счастью, не задев нас, Ирис, сидя где-то на двери или стенке вагона, может быть, на спинке кресла, — в точности не помню, — вынула из сумочки зеркало и туалетные принадлежности и стала приводить себя, как бы ничего не случилось, в порядок.

— Вы с ума сошли, — вспыхнул я. — Какой ерундой Вы занимаетесь! — Её хладнокровие граничило с бесчувственностью...

Мы стали карабкаться вверх по вагону, напирая снизу на двери каждого купе в отдельности, скользя по линолеуму и поминутно скатываясь вниз, таща за собой несессеры и чемоданы.

С трудом выбравшись на верхнюю площадку, стекло двери которой было разбито, я высунулся из него.

Гроза стихла. Непроницаемая тьма. Снизу доносились голоса. Там пылали факелы.

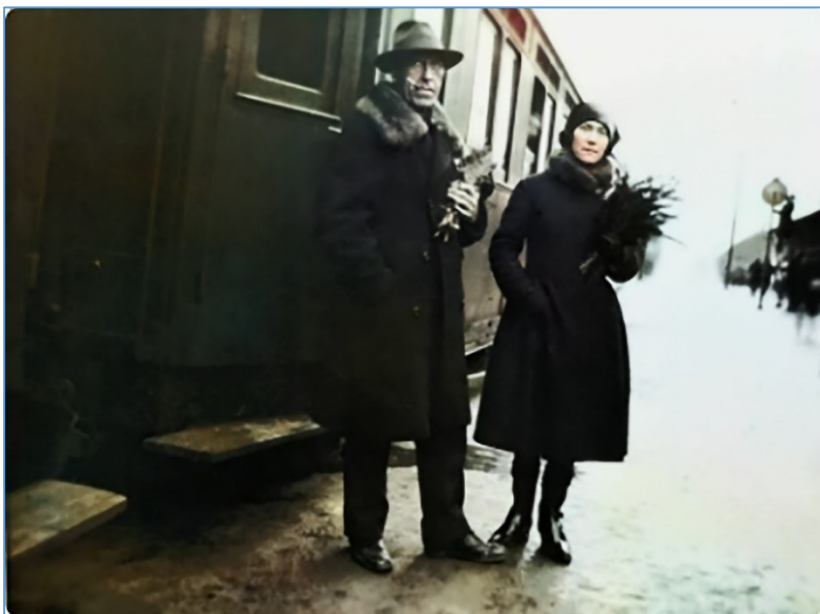
— Други, добейте меня! — раздирающим душу голосом стонал смертельно изувеченный машинист...





25 января, Сараево. Встреча супругов Лотарёвых, избегнувших гибели в железнодорожной катастрофе. Из-за плеча Игоря-Северянина выглядывает молодая дама в светлом пальто и модной шляпке — Валентина Берникова, югославская муза.

Тщетно пробовали мы раскрыть дверь, ютясь на площадке: она не поддавалась нашим усилиям. Наконец мимо нас спускавшимся к паровозу кондуктором мы были через разбитые двери извлечены наружу и стали в кромешной тьме карабкаться по скользкому откосу к полотну. Часть чемоданов осталась внизу около вагона, и за ними пришлось ползти, щедро его одарив динарами, какого-то албанца. Весь состав поезда, оказалось, стоял на рельсах. Свернулись вниз только паровоз, багажный и наш вагоны... Катастрофа произошла из-за грозы: громадный осколок скалы, подмытый ливнем, упал на рельсы перед проходом поезда. Путь в этом месте чрезвычайно изгибист: машинист из-за уступа не мог издали заметить опасность, паровоз налетел на осколок, подскочил, — что называется на дыбы встал, — и ринулся вниз в речку Неретву, мелкую и порожистую. Багажный вагон раздавил его и частью сам себя в щепы, наш же упёрся в них и, следовательно, удар уже был отчасти смягчён. Все это произошло между станциями Мостар и Яблонца.



25 января, Сараево. Супруги Лотарёвы, избежавшие гибели в железнодорожной катастрофе.

Через час из Яблонницы был подан вспомогательный поезд, и все пассажиры, перелезши через злополучный осколок разместились в вагонах. Немец-турист оказался между ними. Я не знаю, каким образом выбрался он из вагона. С большим опозданием прибыли мы в Сараево, где были встречены нашими знакомыми, обеспокоенными за нас. Они уговорили нас сделать остановку и поехать к ним отдохнуть.

Рождество 1931 года судьба предназначила нам провести снова на благословенных берегах зелёной Адриатики. Мы снова жили в Дубровнике у Сливинских, снова наслаждались красотами Далмации, снова упивались ее животворящим воздухом и таким же розовым вином.

В 1933 году мы побывали там в третий раз. И вот, каждый раз, когда поезд приближался к тому знаменитому перегону Мостар — Яблонница, будь то ночью или днём, у нас появлялось чувство какого-то ожидания, и воспоминание вновь и вновь ярко рисовало ночь, предсказанную вдохновенным ясновидящим. Сбылось и его предсказание относительно замка: лето, осень и часть зимы 1933 года нам пришлось провести в замке Храстовец, в Словении, вблизи Марибора, где были и горы, и много цветов, и речка Песница, приток Дравы...

10 января 1940. Нарва-Йыэсуу

## Игорь-Северянин

### ПИСЬМО К ХИЛЬДЕ ФРАНЦДОРФ\*

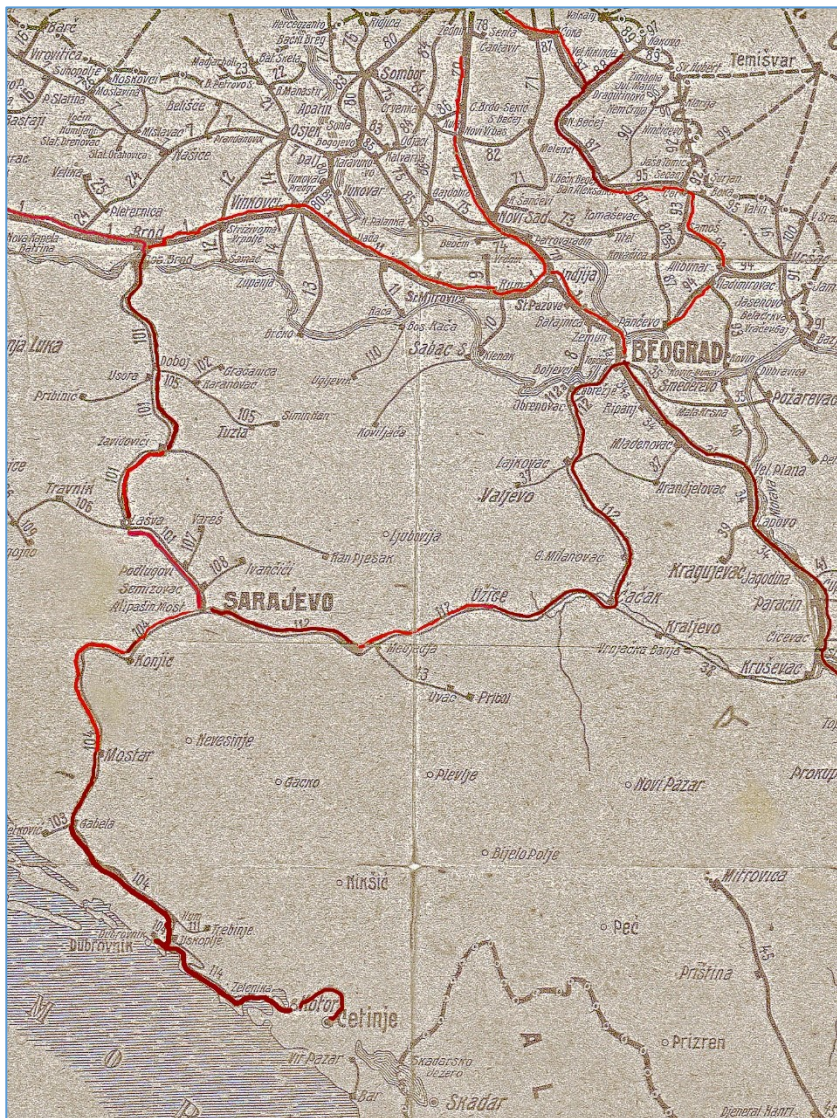
Два фрагмента письма от 5 апреля 1931 года.

<...> Таким образом, мы провели неделю на Адриатическом море, отправившись в Рагузу (36 часов езды на юг от Белграда). Оттуда в открытом авто, принадлежащем бывшему начальнику штаба гетмана Скоропадского — Алекс. Влад. Сливинскому и его жене, чудеснейшим и деликатнейшим людям, поехали однажды прелестным январским утром, при 28 градусах на солнце и 15 в тени, вдоль Адриатики за 50 кил. от Рагузы в Ерцегнове, отдохнули там часок, закусили и направились через Зеленику, всё время по горам около моря, в бухту Катарро, ещё 50 килом., а, оттуда совершив в авто перевал через высоченные горы, мимо вершины Ловчен (2.300 метров над уровнем моря), проделав еще около 60 кил., попали в сумерки в сердце Черногории — Цетинье. Путь изумительной красоты! Внизу на побережье Адриатики, цветут все время и висят одновременно на ветках (заметьте: цветут, и висят одновременно!) мандарины, апельсины, лимоны, финики и миндаль, розы благоухают и фиалки, а около Ловчена лежит снег, и так холодно, что у нас руки и ноги коченели. От Катарро подъем в 30 килом. длины, двадцатью восемью зигзагами (серпантинами). А за цепью гор Монтенегро такой же спуск.

<...> Что касается катастрофы, она произошла в ночь на 25 янв. в Герцеговине, между станциями Мостар и Яблоница. Был тропический ливень, перед нашим поездом свалилась размытая скала на рельсы. Паровоз из-за угла налетел на неё, подпрыгнул и скатился в пропасть к реке Неретва. За ним багажный вагон, а за ним наш I класса. Остальные вагоны остались наверху. От паровоза остались лишь щепки, багажный исковеркан первой своей половиной, а наш упёрся в багажный. Получился крен в 90 градусов... Нас сбросило вниз. Стены обиты бархатом, и потому отделался лишь ушибами левого виска. Фишенька очутилась вверх ногами. Часа два пробыли в кошмарном состоянии, когда выбрались из вагона: тьма, ливень, факелы, крики, стоны умиравшего машиниста, которого придавило обломками паровоза. Солдаты его откапывали. Затем прибыл вагон с паровозом, и нас отвезли в Яблоницу, а оттуда в новом составе поехали в Сараево». <...>

---

\* Хильда Францдорф – жена эстонского поэта Хенрика Виснапуу, ей посвящён цикл стихов «Письма к Инг», переведённый на русский язык Игорем-Северяниным.



Фрагмент карты, на которой Игорь-Северянин красным карандашом отмечал поездки по Югославии. Вверху — рукой поэта маргиналии в виде подсчётов. Например, «Белград 214 динаров».



Успех гастролей лучше всего иллюстрируют фото в Новом Бечее в 1930 году. Женская гимназия и после торжественная трапеза.



## Николай Рыбинский

### Едва не погиб Игорь Северянин

(От белградского корреспондента «Сегодня»)

Пребывание в Югославии, где И.В.Северянин провёл довольно долгое время и пользовался исключительным успехом, едва не окончилось для него трагически.

После Белграда, где поэт выступал в ряде вечеров и прочёл несколько лекций в Русском Научном Институте, он по предложению Русского Культурного Одбора, объехал русские кадетские корпуса и женские институты, где выступал с чтением стихов о России. Культурный Одбор приобрёл для издания три книги его стихов, и пребывание поэта в Югославии вышло исключительно благоприятным и в материальном отношении.

Перед отъездом в Париж, И.В.Северянин с супругой проехал в Дубровник. И на обратном пути в Белград между станциями Мостар и Яблоница поезд вследствие обвала скалы потерпел крушение. Катастрофа произошла ночью. Разбитый паровоз свалился в пропасть, товарный вагон был разбит в щепы, а следующий, в котором ехал И.В. повис над пропастью.

В разговоре с белградскими друзьями поэт очень живописно рассказывал об этом случае:

— Тёмная ночь. Крики перепуганных пассажиров. Снизу из пропасти доносятся стоны машиниста и кочегара. Нависший над пропастью вагон; чтобы выбраться из него, пришлось по коридору ползти на четвереньках, цепляясь за скамьи. Полную неустрашимость проявила моя жена. Захватив в помощь крестьянина, она отправилась в вагон и вынесла все вещи, несмотря на то, что вагон мог каждую минуту сорваться в пропасть.

— Сильное потрясение перенесли?

— Отделался сильными ушибами. Но отхожу, уже мелькают рифмы, и этот случай единственный в моей жизни, опишу в стихах.

Завтра с утренним поездом И.В.Северянин уезжает, мы тепло прощаемся.

— Ощущение исключительной теплоты и сердечности уношу с собой из Югославии. Прекрасная страна и прекрасные люди живут здесь: и югославыне и русские, — лучшее воспоминания обо всех.

*«Сегодня», Рига, февраль 1931 года.*

## Миодраг Пешич

Није ни чудновато: ја сам носио  
у крај неранца и мимоза  
поздрав од северних јагода и бршљана —  
поздрав од оних којии овде нису,

Ја сам носио — и то врло брижљиво  
Јадранскоме мору  
поздрав од Балтика седог, —  
тај сам поздрав носио од њега.

Певао сам северу, — југу нисам певђ,  
али ја сам песник и природe друг,  
и поздрављам у горама овим  
Та-ра-ра-прах! Та-ра-ра-прах.

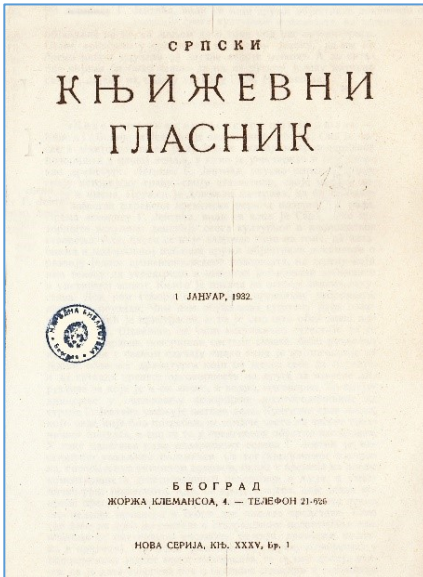
## Адриатические стихи Игоря Северянина

Знаменитый русский поэт Игорь Северянин во время своего второго проезда по Белграду организовал вечер своих стихов. По этому случаю он также прочитал свой Адриатический цикл, из которого передал в наш журнал три стихотворения для первой публикации в нем.

Игорь Северянин накануне русской революции, один из крупнейших русских поэтов, бывший основоположник эгоцентрического поэтического направления в России, до конца остался верен своей необыкновенно ярко окрашенной индивидуальности. Очень плодовитый, он опубликовал множество сборников стихов; а в предисловии к первому тому сборника стихов (1918) он подчёркивает:

*«Я — противник автопредисловий: мое дело — петь, <...> я, очень строго по-своему, отношусь к своим стихам и печатаю только те стихи, которые мои не ичтожены, т. е. е. жизнь. <...> вы только интуитивны; исправьте старые стихи <...> я нахожу их убийственными для них: ясно, в своё время они вполне удовлетворили меня, если бы я их тогда не сжёг. дорогой мне, наконец, он мой!»*

Ни один русский поэт новой и новейшей эпохи не обогатил русский язык новыми выражениями и часто весьма удачными неологизмами, столь изысканными, как Игорь Северянин. Сегодня в этом смысле речь идёт о целом *северянинзме*, имеющем своё место в русской литературе.



их звучной красоты. А для читателей, которым было бы трудно полностью понять их на русском языке, мы приводим их здесь в переводе г. М.М.Пешич.

Поэт моря, всегда восхищавшийся северными пейзажами и весь в вспышках северных настроений, по этому случаю здесь, на нашей Адриатике, переживал новые лирические минуты и воспевал наше южное и солнечное море. Нет сомнения, что его *адриатический цикл* займёт видное место в его позднейшей поэзии.

В настроении от роли нашего журнала в нашей литературе Игорь Северянин подарил нам три своих ранее опубликованных стихотворения, с желанием оставить ими след\*\*. Мы приводим стихи в оригинале на русском языке, чтобы ничего не отнять у

---

\* Пешич Миодраг М. (1897 – 1979) — сербский писатель и переводчик, учился в Москве. С 1921 года сотрудничал в журналах «Воля», «Будућност», «Жизнь и творчество», «Сербский литературный вестник», «Русский архив» и других изданиях.

\*\* На фото обложка «Сербского книжного вестника» (январь 1932) с пометкой М.Пешича, его переводом стихотворения «Горный салют» и с публикацией трёх стихотворений из сборника стихов Игоря-Северянина «Адриатика»: «Дрина», «Пераст» «Горный салют».



Пётр Пильский

## ДОРОЖНАЯ ТЕТРАДЬ ПОЭТА

Год тому назад Игорь Северянин совершил большое путешествие по Европе, долго пробыл в балканских странах Югославии и Болгарии, выступал в Белграде, Сараево, Дубровнике, Софии, Плевне. Всех его концертных остановок, разумеется, не перечислить, но в это турне вошли, и совсем маленькие городки, вплоть до Нового Бечея.

Эти места не могли не оставить своего следа в стихах поэта. Только что вышедшая книжка Игоря Северянина похожа на лирический дневник, альбом стихотворных записей, собрание поэтических фотографий, отзвуки благодарного, и восхищённого сердца.

Чудесный юг произвёл на поэта большое впечатление, освежил и ободрил путешественника-северянина. Горы, солнце, апельсины, зреющие в январе, ранние мимозы, лазурь, море, старые города с давно замолкшими шумами, распрощавшиеся с историей, населённые видениями и голосами прошлого, самый воздух юга, его женщины и смех стали темами, этих, лирических пьесок этой новой книжечки, озаглавленной «Адриатика».

Она полна нежности, её писали признательные воспоминания, в ней отразились женские образы, — отдельные стихотворения посвящены девушкам и женщинам. В «Адриатике» вообще много посвящений, — это интимная тетрадь.

Воспеты «адриатическая бирюза», Дрина, «ядовито-яростно-зелёная»,

Текущая среди отвесных скал,  
Прозрачна ты, как девушка влюблённая,

Явствен, будто отсюда слышен, освежающий гром в горах,  
Дубровника, в краю мандаринов и мимоз:

Тара-ра-ррах. Та-ра-ра-ррах...  
Нас встретила гроза в горах.  
Смеялся молний аметист  
Под ливня звон, под ветра свист.

Поэта поразили южный январь в зеленеющих пальмах, изукрашенный цветами; весь воздух юга («Это не веянье воздуха, а дыханье Божества»), очаровали золотые дни, — какое знакомое упоение северного

человека, его мгновенная влюблённость в эту непривычную лёгкость, передаваемое струение в невиданные краски.

Господи! Голубоватые вижу брызги на весле.  
Это же просто немислимо неземное на Земле.

Это записано в очаровательном Дубровнике (Рагуза) на вилле «Флора мира» — только подумать! — в декабре. Кружили голову, заставляли сильнее биться сердце рождественские праздники в Ядрани, когда «море было так небесно» все — вокруг «солнечно слепящее» и волшебная прогулка в нагорном Градаце. Потом Пераст в золотистой белизне, стройные красавицы Конавли, перевал через вершинный Ловчен, высоты Калемегдана, туманный Земун, мутная Сава, входы и спуски, кабачки и встречи, вечерние беседы, и даже катастрофа — крушение поезда в горах низринувшегося «из-за обвала в бездну».

Книжка проникнута встревоженным и восхищенным чувством неожиданных перемен, упоительных встреч с новым миром. Такие путешествия несут окрыления, возрождают, и говорят о счастье.

На Игоря Северянина балканский юг должен был подействовать особенно внушительно после милого безмолвия эстонской Тойлы, зим и снегов, благостное дыхание Адриатики показалось благодатной весенней нежностью. Туда поэт привёз «Адриатической волне привет от Балтии седой». Но Северянин сказался и тут, верный себе и родным привычным картинам. Адриатическая весна очаровала, но трогательной осталась весна севера.

Мох в еловом лесу засинел, забелел в перелесках.  
О, подснежники, вы — обескрыленные голубки!  
И опять в ущерблённых, губчатых, коричневых, резких.  
Ядовитые ноздри свои раздувают сморчки.

Все последние годы Игорь Северянин проявляет верность своему уединению. Он стал верен и постоянен во многом. Отдельные признания в этой книжке говорят о давних привязанностях человека, и страстный рыболов, автор мечтал и в Рагузе «попасть на заманчивый Локрум да и с лодки кефаль половить заодно». Верен Игорь Северянин и своему теперь укоренившемуся отчуждению от города. Среди кактусов и пиний, среди голубых и сизых скал, он вспоминает с отвращением, с искренним изумлением о том, что есть ещё люди, живущие уютно «в городах, как в каменных гробах». А между тем —

Ведь есть же мощь почти невероятная,  
Лишь в сновиденьях мыслимая мощь,  
Взволновывающая и понятная,  
И песенная как весенний дождь.

Петербургский период Игоря Северянина давно отцвёл, увял и умер, и городских обольщений нет. Появилась жажда простоты, свежести, просторов земли. Прежнее осуждено и погибло. Осталось лишь то, чего, победить не может, также как основной строй своего духа, тяготение к словотворчеству, к своеобразной выразительности, капризам личного языка. Но и тут нет подчёркнутости, ни рисовки. В этой интимной книжке поэт искренен, доверчив и откровенен.

*«Сегодня», № 233, 13 августа 1932 года.*

### **Игорь Северянин**

<будет> читать свои стихи на радио в воскресенье, 3 декабря в 19 ч.

— 53, Косовска, первый этаж направо. Я получил адрес и пошёл к Игорю Северянину. <Постучал>, но прежде чем я получил ответ, из номера в коридор вышел поэт. Одетый в зимнее пальто, все же подходит ко мне сказать несколько слов.

Высокий мужчина, северного облика поэт, стоя ожидал вопросов. Разве стоя <это> обычай уважения словенских гостей, или признак того, что «несколько слов», о которых я просил, на самом деле «несколько слов», а не длинный разговор?

Я спрашиваю его о Словении, где он провёл лето, но ещё не закончил вопрос, а Игорь Васильевич <уже> отвечает, коротко, сухо, почти как <сообщает> «личную информацию» в суде.

— Марибор. Замок Храстовец, четыре с половиной месяца.

Про свою лекцию в Русском доме говорит так же, стенографически, немногословно.

— Да, у меня была лекция. Двадцать вторая. Название «Путь к вечным розам». Русская поэзия начала XX века.

Я прошу его рассказать мне что-нибудь о Финляндии, где он живёт. (Прошу прощения у людей с Балтийского моря, но был неправильно проинформирован.)

Поэт, с небольшой улыбкой, едва заметной на губах, поправляет.

— Нет, я не живу в Финляндии, мы сейчас живём в Эстонии ... Эстланд — <он> быстро добавляет объяснение. — Эстония находится к югу от Финского залива, а Финляндия на северо-востоке, на полуострове.

Я благодарю его за объяснение. Интервью начало терять свою суховатость. Когда человек смеётся или даже улыбается, он перестаёт быть сухим, улыбка разбивает лёд.

- Когда вы начали писать?
- Когда мне было девять лет.

Это он говорит, просто и легко, так как на вопрос <о том>, когда он пошёл в школу, и он сказал, что в семь лет.

— Да что вы говорите! — интересно.

— Тем не менее, так есть. Первую работу напечатал в 95 году <правильно: 1905 – прим. публикатора>. Мне было 17-18 лет.

Вот некоторые идеи, перед ним, пожалуй, одним из которых является журнал с его стихотворением — первенцем, которое он читал по сто раз, но не верят, что это действительно его напечатанные стихи. Затем он добавляет, возвращаясь снова к сухому, официальному тону:

— Теперь мне 47 лет.

У него бритое загорелое лицо, сильные линии и глубокие морщины, <выражение лица> дружелюбное. Ему может быть 38 или 54.

Я прошу его рассказать мне что-нибудь о Бунине, который недавно получил Нобелевскую премию. Он немного подумал. Наконец:

— Что ж, — прост, ясен, академичен, холоден...

Его друг за линзами <очков> не может удержать юношеского сердца, — однако он не подлежит интервью — и добавляет ещё немного лестного <про Бунина>.

Игорь Васильевич, исправляя собой <в интервью>, с улыбкой и пожал плечами:

— Нет, речь не об этом... — а потом продолжает: — Конечно, можно только приветствовать, что <Бунин> русский. Первый из русской литературы...

— Но, как известно, Толстой должен получить награду, и что дело было закончено, и что Лев Николаевич сам <осуётно> выяснили ранее.

Об этом Игорь Северянин имеет своё особое мнение. По его словам, он был изобретён (впрочем, Толстой сам позже собственноручно <записал> в дневник).

— Что вы читаете? Какой литературе <отдаёте> предпочтение?

— Новейшую, современную. Я люблю Шмелева, Рощина, Зайцева...

— А наша литература?

Этот вопрос получает дипломатичный ответ:

— Из вашей литературы я переводил Дучича, десять стихотворений, Крклеца, Милишевича. — Затем он добавляет, <о> взаимности: — Я был переведён на ваш язык Бадаличем, Тарановским (много), Кршичем ...

Интервью закончено, я встал, чтобы уйти, но Игорь Васильевич добавляет на прощанье:

— Я писал о вашем море. О Ядране.

Госпожа Северянин достаёт из небольшого чемоданчика сборник стихов <<Адриатика>— прим. публикатора>, который подаёт мне:

— Вот вам на память...

# ИГОР СЕВЕРЈАНИН

Уз час читања његових дела на радиу у недељу 3 децембра у 19 ч.

— Косовска 53, први спрат десно. Добио сам адресу и кренуо да нађем Игора Северјанина. Пријављујем се, али пре него што сам добио одговор, излази из собе у претсобље песник. У зимском капуту, полази од куће, али пристаје ипак да ми каже неколико речи.

Висок, мушког, северњачког лика, песник је стајао, очекујући питања. Да ли је то стајање било израз словенског праобичаја поштовања госта, или знак да „неколико речи“, за које сам молио, треба заиста да остану „неколико речи“, а не дуг разговор?

Питам га о Словеначкој, -где је провео лето, али још није питање ни завршено, а Игор Васиљевић даје одговоре, кратке, суве, скоро као „личне податке“ на суду.

— Марибор. Замак Храстовица. Четири и по месеца.

О свом предавању у уском Дому говори истим начином, стенографски, лапидарно.

— Да, имао сам предавање. Двадесет другог. Наслов је био „Пут к вечним ружама“. Руска поезија почетком XX века.

Питам га да ми каже нешто о Финској, где живи. (Нека ми опросте људи са Балтика, али ту сам погрешно био информисан, или сам био заборавно).

Ту се мало замисли, пред очима му је, можда, онај број журнала у коме је његова песма — првенац, коју је читао по сто пута, па ипак није веровао да је то заиста његова песма, рођена, штампана. Затим додаје, враћајући се опет на суви, званични тон:

— Сада ми је 47 година.

Његово лице, обријано, јаких цр-



Игор Северјанин

та и дубоких бора, мрко, па ипак

вић сам то осуетио, јер је дознао раније.

О овоме Игор Северјанин има своје засебно мишљење. Према њему, то је измишљено, (па ипак, Толстој је то сам доцније помињао у својим писмима).

— Каква је ваша лична лектура?

Коју књижевност претпостављате?

— Модерну, савремену. Волим Шмеловца, Рошчина, Зајцева...

— А наша литература?

Ово питање добија други одговор, дипломатски:

— Из ваше књижевности преводио сам Дучића, десет песама, Крклеца, Милићевића. — Затим додаје, реципрочно: — Мене су преводили на ваш језик Бадалић, Тарановски (много), Кришћ...

Интервију је завршен, устао сам да пођем, али Игор Васиљевић додаје још на расстанку:

— Писао сам о вашем мору. О Јадрану...

Госпођа Северјанин тада налази у једном кофру малу свещицу песама, коју ми даје:

— Вот вам, на воспоменије...

М. М.

★ Радио новине. Отпре неколико дана преноси станица Опорто (Португалија) свакодневно целокупан садржај дневнег листа. Овај радио

Журнал «РАДИО БЕОГРАД», 1933.

## Игорь-Северянин Из сборника «Адриатика»

### ВОЗДУХ — РАДОСТЬ

М.А.Сливинской.

Это не веянье воздуха, а дыханье Божества  
В дни неземные, надземные Божеского Рождества!

Воздух вздохнёшь упоющий, — разве ж где-то есть зима?  
То, что зовётся здесь воздухом — радость яркая сама!

Море и небо столь синие, розы алые в саду.  
Через прозрачные пинии Бога, кажется, найду,

Господи! Голубоватые вижу брызги на весле.  
Это же просто немислимо: неземное на Земле!

1931. Декабрь, 24.  
Дубровник (Рагуза).  
Вилла «Флора мира».

### РОЖДЕСТВО НА ЯДРАНЕ

А.В.Сливинскому.

Всего три слова: ночь под Рождество.  
Казалось бы, вмещается в них много ль?  
Но в них и Римский-Корсаков, и Гоголь,  
И на земле небожной Божество.

В них — снег хрустящий и голубоватый,  
И безалаберных весёлых ног  
На нём следы у занесённой хаты,  
И святочный девичий хохолок.

Но в них же и сиянье Вифлеема,  
И перья пальм, и духота песка.  
О, сказка из трёх слов! Ты всем близка.  
И в этих трёх словах твоих — поэма.

Мне выпало большое торжество:  
Душой взлетя за все земные грани,  
На далматинском радостном Ядрани  
Встречать святую ночь под Рождество.

Ночь под Рождество 1931 г.  
Дубровник (Рагуза). Вилла «Флора мира».

## ПРОГУЛКА ПО ДУБРОВНИКУ

Т.И.Хлытчиевой.

Шевролэ нас доставил в Дубравку на Пиле,  
Где за столиком нас поджидал адмирал.  
Мы у юной хорватки фиалок купили,  
И у женского сердца букет отмирал...

Санто Мариа влево, направо Лаврентий...  
А Ядранского моря зелёная синь!  
О каком ещё можно мечтать монументе  
В окружении тысячелетних святынь?

Мы бродили над морем в нагорном Градаце,  
А потом на интимный спустились Страдун,  
Где опять адмирал, с соблюденьем градаций,  
Отголоски будил исторических струн.

Отдыхали на камне, горячем и мокром,  
Под водою прозрачною видели дно.  
И мечтали попасть на заманчивый Локрум  
Да и с лодки кефаль половить заодно...

Под ногами песок соблазнительно хрупал  
И советовал вкрадчиво жить налегке...  
И куда б мы ни шли, виллы Цимдиня купол,  
Цвета моря и неба, синел вдалеке.

Мы, казалось, в причудливом жили капризе,  
В сновиденьи надуманном и непростом.  
И так странно угадывать было Бриндизи  
Там за морем, на юге, в просторе пустом...

1931. Июнь, 4.

Toila.

## В ДОЛИНЕ НЕРЕТВЫ

Я чуть не отдал жизнь в твоих горах,  
Когда, под грохот каменно-железный,  
Наш поезд, нёсшийся на всех парах,  
Низринулся — из-за обвала — в бездну.

Когда в щепы разбитый паровоз  
И в исковерканный — за ним — багажный  
Упёрся наш вагон, а злой откос  
Вдруг превратил его в многоэтажный.

Мы очутились в нижнем этаже.  
Стал неприступно скользок линолёум.  
Мы вверх не шли, нет, мы ползли уже  
И скатывались под наклоном левым,

Но и тогда, почти касаясь дна,  
Дна пропасти и неповторной жизни,  
Очаровательнейшая страна,  
Поэт тебя не предал укоризне.

Он только в памяти запечатлел  
Ночь, ветер, дождь — пособников лавине, —  
И нет чудеснее на всей земле  
Долины Неретвы в Герцеговине!

1931. Февраль, 25.

Париж.



## ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

Мы взбираемся на Ловчен.  
Мы бежим под облака.  
Будь на поворотах ловче,  
Руль держащая рука!

Сердце старое не старо,  
Молодо хотя б на час:  
У подножья гор Каттаро  
Двадцать восемь встало раз!

Почему так много? — спросим.  
На вопрос ответ один:  
Потому что двадцать восемь,  
Двадцать восемь серпантин!

Мы пьянеем, пламенеем  
От развёрнутых картин.  
Грандиозным вьются змеем  
Двадцать восемь серпантин!

Адриатика под нами,  
Мы уже в снегах вершин.  
В тридцать километров знамя —  
Двадцать восемь серпантин!

1931. Январь, 20.

Дубровник (Рагуза). Вилла «Флора мира».

## ПОРТРЕТ ДАРИНКИ

Василию Витальевичу Шульгину

Я хожу по дворцу в Цетинье —  
Невыскательному дворцу,  
И приводит меня унынье  
К привлекательному лицу.

Красотою она не блещет,  
Но есть что-то в её глазах,  
Что заставит забыть про вещи,  
Воцарившиеся в дворцах.

Есть и грустное, и простое  
В этом профиле. Вдумчив он.  
В этом профиле есть такое,  
Что о нем я увижу сон.

Гид назвал мне её. Не надо!  
Мне не имя — нужны глаза.  
Я смотрю на деревья сада.  
Я смотрю, и в глазах — слеза.

1931. Январь, 20.  
Цетинье. Черногория.

Игорь-Северянин

Три перевода из Йована Дучича

**ВИНО ИЗ ДУБРОВНИКА.**

Разлеглось спокойно море перед садом.  
Тихо, неподвижно. Бьёт струя фонтана.  
А из синих лавров похотливым взглядом  
Смотрит лик блудливый мраморного Пана.

Пропиталась страстной музыкой долина.  
Общество в саду в беседах возбуждённых.  
Был обед чудесен. выдержаны вина.  
Весело гостям в аллеях освещённых.

Возникают танцы. Беспорядок нужный.  
И уже условность склонна к нарушениям:  
Капитан псалмы цитирует мятежно,  
А доминиканцу — мандолина с пеньем...

Анна де Доце, девица тонных правил  
И особа столь же правильного тона,  
В окруженьи дам, уже считает вправе  
Рассказать новеллу из Декамерона . . .

1930. Ноябрь, 18.

Белград.

## МАДРИГАЛ ИЗ ДУБРОВНИКА

Вечером у князя мы в разгаре бала.  
О, Madame, станцуем как когда-то снова  
Бурный вальс. С улыбкой мы пройдем вдоль зала,  
Будто между нами ничего былого...

А затем придут весёлые кадрили.  
Музыка, как буря забушует страстно.  
В шёлк венецианский дамы стан обвили,  
А мужчины — в бархат чёрный и прекрасный.

Позже в разговорах общество потонет;  
Юность — о поэтах винах и геройстве  
Старость — о схоластике и о Платоне,  
И об Августине, и о неба свойстве...

Мы же между тем, в глубинах зала сядем.  
Утопая в креслах толки поразвевяв,  
И сонетом грустным, как бы шутки ради,  
Я почту Ваш лёгкий, милый сердцу, веер...

1930. Ноябрь, 18.  
Белград.

## ИНОК ИЗ ДУБРОВНИКА

Тысяча шестьсот (ах, все равно какого!)  
Года некий инок был зимой в Версале  
И, Люи Каторз представлен, образцово  
Выказал усердьё на приёме в зале.

В честь республиканского посла устроен  
В Трианоне вечер (блеск любила эра!)  
На котором гость почтен и удостоен  
Музыкой Люли и труппою Мольера.

Крошечные, в пудре, всю то ночь маркизы  
На носках сатиновых нарядных туфель  
Ткали менуэт, и колебались бризы  
Вееров по залу, нежа тонкий профиль...

В это время гость расхаживал по залу,  
Про Адриатического моря церкви  
Говоря торжественному кардиналу.  
Думая о туфельке изящной мерки...

1930.  
Белград.

**Hrvoje Ivanković**

**IGOR SEVERJANIN – KARIZMATIČNI FUTURIST KOJI JE  
OBOŽAVAO DUBROVNIK**

Извлечение

В 1930-е годы он <Игорь-Северянин> трижды был в Югославии. Когда он решил впервые навестить её в октябре 1930 года, у него не было там ни одного знакомого; он знал только, что в Югославии с заботой и гостеприимством относятся к русским писателям. Как оказалось, Северянин и его жена действительно были приняты любезно. Своими поэтическими выступлениями и лекциями о Фофанове и Сологубе он заработал немного денег, а также получил бесплатный билет на поезд первого класса для путешествия по стране. Он использовал его, чтобы взглянуть на Адриатическое побережье. На вокзале его встретил совершенно незнакомый человек, А.Сливинский, прочитавший в газете известие о его приезде в Дубровник. Северянин и его жена гостили у Сливинского на вилле Флора мира <Flora Mira> в течение недели (с 18 по 24 января).

Человеком, который оказал гостеприимство Северянину в Дубровнике по его прибытии из Белграда (где он давал вышеупомянутые выступления и лекции), был бывший полковник генерального штаба и начальник штаба украинского гетмана Скоропадского Александр Владимирович Сливинский. В Югославии он занимался строительным бизнесом (его специальностью было дорожное строительство), но мне не удалось определить, была ли упомянутая вилла Флора мира, которую, очевидно, арендовал Сливинский, на самом деле виллой Флора художницы Флоры Якшич, расположенной в заливе Лапад, о чём свидетельствуют некоторые письма Северянина с описанием дома, где он и Фелиса остановились в Дубровнике.

На следующей неделе, благодаря хозяину, Северянин встретился с некоторыми виднейшими представителями дубровницкой общины русских эмигрантов, насчитывавшей тогда около трёхсот членов, что было в три раза меньше, чем в конце 1920 года, в котором была основана русская колония в Дубровнике. Тем временем многие русские беженцы уехали в третьи страны, но русские из других частей Югославии часто приезжали в Дубровник на короткий или длительный срок, как, например, монархист Василий Витальевич Шульгин, бывший член Государственной Думы, который в новой среде в основном посвятил себя архивным исследованиям и написанию мемуаров и приключенческих романов.

Его воспоминания о встрече в Дубровнике с Северяниной — одно из самых драгоценных свидетельств такого рода: *«он был высокий,*

*худой, очень сутулый. На голове чёрная грива. Вот тебе и Северянин! Голос у него был глуховатый; но довольно сильный; звучавший в большой зале. Он читал свои стихи хорошо, в своей собственной манере. И это было странно, потому что к его музе более подходили бы и другой голос, и другой выговор. Несомненно, что-то южное (...) А он был совсем скромный! Да, в частной жизни он был скромный, тихий, молчаливый. Но не угрюмый. Он молчал, но слушал внимательно и охотно; и на губах его была добрая улыбка. В этой улыбке обозначалось одновременно и что-то детское, и что-то умудрённое. (...) В эту свою пору, он как бы стыдился того, что написал в молодости; всех этих «ананасов в шампанском»; всего того талантливого и оригинального кривлянья, которое сделало ему славу. Славу заслуженную, потому что юное ломанье Игоря Северянина было свежо и ароматно».*

Шульгин смотрел и слушал сольный концерт Северянина в Дубровнике, но его наблюдения в основном согласуются с тем, что другие авторы, такие как Георгий Адамович, писали о новом стиле выступлений Северянина в то время: Северянин стал совершенно другим. Он уже не воеет на сцене, а читает, как все; он вырос, стал мудрым и простым.

Таким образом, перед дубровницкой публикой предстал такой мудрый и простой Северянин. У него было два выступления, о которых скромно было объявлено в местной газете, и «Народна свште» сопровождала их интересной рецензией юриста Маты Шишича\*, который ещё в 1919 году отличился как знаток русского языка и друг России, когда дал приветственный приём. выступление от имени дубровницкой молодёжи перед графом Бобринским и делегацией общественных деятелей и политиков, прибывших в Дубровник в качестве представителей армии и учреждений генерала Деникина из Киева, Одессы и Екатеринодара.

Своё первое выступление Северянин дал в Дубровнике через четыре дня после приезда, в зале общества «Слога», в так называемом Зеркальном зале. После краткого вступления, в котором он <Шишич> дал основные сведения о творчестве Северянина и драматургии его поэтического вечера (в первой части были представлены стихи, высмеивающие современность, вторая была посвящена лирической поэзии, а третья — патриотическим стихам).

Шишич описал атмосферу, которая царила в тот раз в зале Слога. Когда поэт читает свои стихи, он проживает их и оставляет глубокое впечатление на слушателя, знающего русский язык. Его патриотические песни, полные тоски по утраченной Родине, но и надежды на её воскрешение, произвели глубокое впечатление на слушателей. Кроме того, в его песнях часто упоминается имя Бога, а значит, Игорь Северянин ещё и



Крепость Ревелин. Вид с моря.

религиозный человек. (...) Вечер, как русский вечер, был достаточно посещаемым, потому что русских было много, а наших сограждан всего одиннадцать. По окончании чтения Игоря Северянина приветствовали громко.

Поэзия Северянина изменилась, изменился и стиль его стихотворных концертов, но очевидно, что перед эмигрантской публикой поэту пришлось ещё сильнее разыграть карту ностальгии по утраченной родине, оставившую столь же сильное впечатление на Мата Шишич, как это сделал на собравшихся в Дубровнике россиянах. Если говорить о художественном значении выступления Северянина (впоследствии почти полностью забытом, хотя до нашего времени в Дубровнике не выступал ни один более крупный и харизматичный поэт мировой сцены), то было бы очень интересно услышать что-нибудь о первой части его спектакль (сатира на современность, о которой он упоминает Шишича, очевидно, представляла собой срез лучших старых произведений Игоря Северянина), но дубровницкие газеты того времени не предоставили о нем более конкретной информации.

На следующий день после вечера поэзии в «Слоге» Северянин выступил также в Русском доме, который тогда ещё располагался в крепости Ревелин и где проводились различные культурные мероприятия, такие как литературные вечера, концерты или выступления местной русской театральной труппы. выступавших в первой половине 1920-х гг. Это второе выступление Северянина, очевидно, носило гораздо более интимный и непосредственный характер, о чём и Мато Шишич говорил в продолжении уже процитированного текста. На следующий день вечером



поэт прочитал свои патриотические стихи (которые есть и в «Слоге») в Русском доме. После чтения в честь поэта было устроено скромное чаепитие, которого остроумной речью встретил г-н Руадза, прочитавший также два своих стихотворения. После этого она прекрасно прочитала два своих стихотворения. [Artijuk.] При этом автор этих строк встал и произнёс тост за Игоря Северянина на частично русском, частично на нашем языке... Игорь Северянин затем поблагодарил оратора, полностью согласившись с его патриотическими и славянскими чувствами и выпив за его здоровье. После того как поэт прочитал своё стихотворение «Соловей», присутствующие разошлись по домам, пожелав Игорю Северянину счастливого пути.

Но поездка на поезде в Сараево, где он должен был остановиться на обратном пути в Белград, совсем не была счастливой для Северянина. Посреди ночи где-то между Мостаром и Яблоницей, в месте прохождения железной дороги вдоль самой Неретвы, из-за сильных дождей на железнодорожное полотно упал большой камень, повредив его и скатившись дальше в реку. Поезд с Северяниным прошёл немного позже, но из-за затмения и пасмурной погоды машинист поезда не смог вовремя заметить опасность и остановиться. Локомотив пассажирского поезда врезался в яму и чуть не перевернулся, резко накренившись в сторону реки, сообщает белградская газета «Политика».

По данным того же источника, вагон машиниста поезда был полностью раздавлен ударом о локомотив, а машинист поезда, пожарный и один кондуктор получили серьёзные ранения, а пассажиры в основном отделались лёгкими травмами, поэтому их перевезли в больницу Мостара, где им была оказана первая помощь. Одним из легкораненых был сам Северянин, который уже в феврале 1931 года в стихотворении «В долины Неретвы» описал то событие и кошмарную атмосферу, царившую на месте катастрофы, пока они два часа ждали помощи под дождём. Ведь тот факт, что много лет спустя, в 1940 году, он написал об этом статью «Гроза в Герцеговине», опубликованную только в 1987 году <в журнале «Огонёк»>, свидетельствует о том, насколько сильно на него повлияла та авария.

Все это, однако, не омрачило радости пребывания Северянина в Дубровнике, о чём он по возвращении писал своему другу Августе Барановой: *«Я дал два концерта в Дубровнике... мы провели одну неделю на Адриатике... Мы остались». ... на берегу моря. Апельсины, лимоны, миндаль, розы, глициния. И всё это с 18 по 24 января, 20-30°С на солнце, 15-20°С в тени! На открытой машине мы отправились в чудесное путешествие в Цетинье, через Герцег-Нови, Зеленику, Пераст и Котор...»*

В декабре 1931 года Северянин и его жена снова были гостями Сливинского и вернулись в Дубровник на несколько дней в июне 1933 года, в середине долгого путешествия, во время которого они провели один месяц в Болгарии и по семь месяцев в Румынии и Югославии. <...> Затем Северянин смог распространить среди своих друзей в Югославии несколько экземпляров своей последней книги «Адриатика», которую он опубликовал в собственном издании в 1932 году в эстонском городе Нарва. Помимо трёх переводов стихотворений Йована Дучича на дубровницкие темы и уже упомянутого «В долине Неретвы», он опубликовал в нем ещё восемнадцать собственных стихотворений, связанных большей частью с впечатлениями от путешествий по Югославии, и прежде всего по Адриатическому побережью. Часть из них написана в Дубровнике во время первого и второго приезда Северянина <...>

Три стихотворения из будущей «Адриатики» были впервые напечатаны в начале 1932 года в «Српски книжевни гласник» <...> «Прогулка по Дубровнику» перевёл Иосип Бадалич, большой знаток творчества Северянина (ещё в 1921 году он писал о его стихах в «Современнике»), получивший «Адриатику» лично от автора, когда тот посетил его на обратном пути из Храстоваца, в начале ноября 1933 года в университетской библиотеке Загреба. Тогда, как позже вспоминал Бадалич, Северянин с энтузиазмом говорил ему о Дубровнике: «Очаровательный город!» Город сказок! Прямое откровение!»

Эти слова, очевидно, произошли из того же опыта, который Северянин передал своим читателям в своих адриатических стихах. Очарование красками, запахами и атмосферой юга, и вечной весной, с которыми этот любитель своего севера отождествлял сказочную Далмацию, породило песни, наполненные опьянением духа и радостью жизни. <...>

Но если упомянутые песни возникли из чистого субъективного восприятия, то песня «Прогулка по Дубровнику» может, наоборот, заинтриговать нас из-за косвенного упоминания некоторых конкретных людей, имевших связи с Дубровником того времени. Знаменитым адмиралом, который ждал компанию Северянина в Пиле, а затем водил его по городу в качестве чичероне <*cicerone, m.e. guida*>, скорее всего, был контр-адмирал Александр Дмитриевич Бубнов\*, русский эмигрант, двадцать лет проживший в Дубровнике, где он работал в Военно-морской академии, как профессор военно-морской стратегии и истории морских войн.

За домом Зимдина, напротив, скрывается вилла «Шехерезада» и её владелец Уильям Зимдин, богатый банкир, промышленник, отельер и коммерсант, чьи связи с Эстонией и Россией наверняка заинтересовали Северянина. <Уильям> Зимдин, настоящее имя Василий Давидович

Зимдин\*, родился в 1881 году в Эстонии, на территории тогдашней императорской России, где он заработал своё первое состояние в качестве посредника в продаже сибирской руды и торговца оружием во время Первой мировой войны. Подобно тому, как Сливинский принимал Северянина, Зимдин принимал в 1932 году Макса Рейнхардта, великого немецко-австрийского режиссёра еврейского происхождения, которого он не знал лично, но предложил ему гостеприимство в «Шехерезаде» после того, как прочитал в австрийской газете, что он планирует провести лето в Дубровнике.

Помимо людей, которых он упоминает в своих стихах, в посвящениях Северянина наряду с отдельными стихотворениями в Адриатике обнаружена интересная галерея персонажей, среди которых русские эмигранты в Югославии. Среди русских, которых он встретил в Дубровнике, его хозяевами были Александр Владимирович Сливинский и его жена Мария Андреевна, а также вышеупомянутый Василий Витальевич Шульгин. В конце «Адриатики», на внутренней стороне обложки, Северянин перечислил все города, в которых у него были публичные выступления с 1910 по 1931 год. Всего у него было 262 города, из которых 22 находились в Югославии: девять в Белграде, по два в Дубровнике, Любляне, Белой Цркве и Горажде и по одному в Сараево, Мариборе, Птуе, Новом-Бечее и Великой Кикинде. Необычно то, что он не провёл ни одного своего поэтического концерта в Загребе, несмотря на многочисленную русскую колонию в Загребе и друзей, которые у него были там. Лучший из них, Йосип Бадалич, по общему признанию, не имел особенно хорошего мнения об адриатической книге Северянина; он описал её как буклет, не образующий никакой даты, в поэтическом творчестве Северянина, и как маршрут опытного стихослагателя, вкрапленный кое-где с настоящим поэтическим энтузиазмом, но это, конечно, не было причиной отсутствия Загреба в маршруте поэта.

<Впервые в журнале Dubrovnik Horizons, 2013>.

---

\* Мата Шишич — юрист из Дубровника.

\* Бубнов Александр Дмитриевич (1883-1963) — русский контр-адмирал, военный мыслитель, педагог, прозаик, мемуарист, один из основателей военно-морского флота и высшего военно-морского образования в Королевстве Югославия.

\* Зимдин — неустановленное лицо.

## Михаил Петров

### VILLA FLORA MIRA В ЗАЛИВЕ ЛАПАД

После могилы Тутанхамона для историка и археолога нет ничего желаннее, чем аутентичная мусорная яма в правильном месте. Если ты биограф исторического персонажа, то тебе тоже важны личные впечатления от связанных с ним мест, ну и впечатления от мусорных ям тоже.

Моя давняя мечта найти во Владимировке мусорную яму дяди поэта Игоря-Северянина Михаила Васильевича Лотарёва. Имение расположено в двух десятках километров от Череповца, посему мусорная яма должна быть поблизости от имения — не возить же мусор в такую даль! Найдёшь яму, найдёшь множество подлинных и бесценных вещей для музея Игоря-Северянина. Мечты, мечты!

В Дубровнике я искал виллу Flora Mira на которой дважды бывал Игорь-Северянин с женой Фелиссой. После похода по казённым учреждениям и общения с местными чиновниками первоначальный энтузиазм поугас. Оказалось, что про виллу Flora Mira никто ничего не знает и про визит Игоря-Северянина в Дубровник понятия не имеет.

Один только Hrvoje Ivanković исследовал проблему виллы:

*«Человеком, который оказал гостеприимство Северянину в Дубровнике по его прибытии из Белграда <...> был бывший полковник генерального штаба и начальник штаба украинского гетмана Скоропадского Александр Владимирович Сливинский. В Югославии он занимался строительным бизнесом <...>, но мне не удалось определить, была ли упомянутая вилла Flora Mira, которую, очевидно, арендовал Сливинский, на самом деле виллой Флора художницы Флоры Якич, расположенной в заливе Лапад, о чём свидетельствуют некоторые письма Северянина с описанием дома, где он и Фелиса остановились в Дубровнике».*

Не знаю на чём основаны сомнения, разве что на том, что полное название виллы встречается только у Шульгина и у Игоря-Северянина. У Шульгина есть упоминание о том, что вилла расположена *«на дороге Святого Иакова»*. В рассказе Игоря-Северянина *«Гроза в Герцеговине Сливинский говорит:*

*«Мы живём по правому берегу моря в трёх километрах отсюда. Моя машина — в Вашем распоряжении. Мы, конечно, с удовольствием приняли его приглашение. Автомобиль быстро понёсся по дивно-шоссированной дороге на его дачу «Флора мира».*

Всё указывает на залив Лапад, в районе которого нет других известных строений (по правому берегу моря — залива) со статусом вилла, кроме виллы Flora. Тем более, что описание виллы соответствует её нынешнему внешнему виду. У Игоря-Северянина находим:



Villa Flora и её хозяйка художница Флора Якшич.  
Балкон выходит в сторону залива

*«Мария Андреевна, его <Сливинского> жена, встречала нас на белом открытом балконе. Апельсины и нэспали вплотную приникали к нему. Мы пили кофе в одних костюмах, было двадцать два градуса тепла. Адриатика (или по-местному Ядран) веяла на нас своим воздухом — Богом. Весь покрытый лесами остров Локрум темно синел как раз против дачи. Вдали угадывались берега Италии около Бриндизи. Даже кто не родился поэтом, можно было им стать!..» (Ibidem.)*

Всё точно, за исключением вида на Локрум — вид на остров закрывает гористая местность. Зато с балкона в направлении Италии видны острова Колочеп и Лопуд. Легко ошибиться.

Найти виллу просто. На выходе из старого города конечная остановка автобуса номер 6. Водитель подскажет на какой остановке выйти к заливу Лапад. Идите налево от дороги в сторону моря — в сторону пляжа Sunset Beach. По левой стороне пиццерия Tutto bene, а через полторы сотни метров по правой стороне Florin Dom или Galerija Flora.

Увы, смотритель виллы ничем помочь не смог. Он ничего не слышал ни про Сливинского, ни про Игоря-Северянина тоже, но зато позволил свободно осмотреться.

Хозяйкой виллы была хорватская художница Flora Jakšić (1856-1943). Она была замужем за капитаном дальнего плавания Пером Якшичем, но рано осталась богатой вдовой без детей. Флора известна талантом живописца и благотворительностью. В мае 1943 года по дороге в Лапад Флора погибла под колёсами мотоцикла, которым управлял итальянский солдат. В завещании Флоры было определено, что после её смерти вилла Flora будет оставлена молодым хорватским художникам для отдыха и организации выставок.



Интерьер второго этажа виллы. Слева видна оригинальная дверь.

Первый этаж виллы переделан под выставочный зал, комнаты второго этажа тоже превращены в выставочные помещения. Увы, но исторический антураж отсутствует напрочь за исключением чудом сохранившихся колоритных дверей в бывших покоях второго этажа.

В саду я обнаружил пару мест, где действительно можно отдыхать в тени нэспали и апельсиновых деревьев, как это описано в рассказе Игоря-Северянина «Гроза в Герцогвине».

В узком пространстве, ограниченном стеной дома и стеной участка обнаружилось подобие мусорной ямы. И хотя мусора на поверхности было немного, под стеной все же нашёлся стеклянный стакан с клеймом «G», происхождением из начала прошлого века, а также большая немецкая кружка для воды (AGE Durabel Prima Aluminium). Кружка дырявая, зато стакан оказался без изъянов. Если старую кружку на мусорке понимаю, то одинокий стакан нет.

За прислонёнными к стене ставнями, выставленными на дрова, обнаружилась деревянная входная дверь. Именно входная, потому что с внутренней стороны когда-то была массивная щеколда. Дерево сгнило, проржавели насквозь щеколда и замок, но зато хорошо сохранились бронзовые ручки с накладками. Ключ из ржавого замка вынул неожиданно легко.

Мне было позволено забрать находки, в том числе замок и бронзовые ручки с накладками. С замком возникла проблема: на вилле не оказалось инструментов. Потом я понял, что отсутствие инструментов промыслительно, а иначе дверь давно бы спалили в камине.



Одинокий стакан на мусорке.

Кружка №12 с клеймом: в центре вензель AGE, по кругу  
DURABEL PRIMA ALUMINIUM



На следующий день в Сребрено я купил садовую ножовку. Морем вернулся в Дубровник и выпилил из двери замок, но железо замка, увы, изъедено ржавчиной. Им пришлось пожертвовать ради того, чтобы сохранить бронзовые ручки. Разумеется, лишившись самого замка комплект несколько пострадал, но ключ — ключ от него тоже побывал во множестве рук, в том числе в руках «певчих птичек» Игоря и Фелиссы!



Входная дверь, приготовленная на дрова, на заднем дворе Villa Flora.  
Хорошо заметна схожесть с дверями второго этажа.

На верхнем снимке хорошо видно, что металлический замок  
проржавел насквозь.







Бронзовые дверные накладки: слева внешняя, справа внутренняя, бронзовые ручки и ключ.

Вообще-то мне повезло, что на вилле не нашлось простой плотницкой пилы. Бронзу, ключ, стакан и кружку я спас от забвения. Одинокий стакан на мусорке — в таких находках всегда важен контекст и всякие бытовые мелочи. Какой вообще смысл выбрасывать на мусорку хороший стакан даже, если все остальные давно разбиты? Я сравнил находку с современными дубровническими аналогами. Форма почти одинаковая, но рисунок разный и мой стакан несравненно изящнее. У него на донце есть клеймо G, а у современных стаканов клейма нет. Условно говоря — *highly likely* найденный стакан тоже *сливинский* или *северянинский*, во всяком случае, пока не доказано обратное.

Алюминиевая кружка — *highly likely!* — несомненно имеет собственную историю. В 30-е годы при отсутствии водопровода большую кружку могли использовать для набора воды в умывальник. Это означает, что ею по утрам пользовались и супруги Сливинские, и супруги Лотарёвы, и Шульгин, а после смерти Флоры Якшич новые *населники* виллы — бедные хорватские художники.

\* \* \*

Отдельная история с пребыванием Игоря-Северянина в русской культурной среде Дубровника и его окрестностей вроде Млини и Цавтата. Причём, речь должна идти также и о влиянии на культуру сербско-хорватскую. Тема влияния лишь затронута в очерке Hrvoje Ivanković'a и ещё ждёт своего вдумчивого исследователя, тем более что Игорь-Северянин основательно прописан в сербской литературе начала прошлого века — в прессе, в критике, в переводах.

Супруги Лотарёвы оказались в Дубровнике после концерта в Сараево, который состоялся 16 января 1931 года. С большой долей вероятности в Дубровник они прибыли утром 18 января. На следующий день — 19 января Сливинский повёз гостей в Черногорию. Мы знаем об этом, потому что посвящённое Шульгину стихотворение «Портрет Даринки» (см. в сборнике «Адриатика») было написано 20 января в Цетинье.

22 января Игорь-Северянин выступал в Зеркальном зале в обществе Sloga (серб. *согласие*). Поэт читал и ранние свои стихи, которые принесли ему всероссийскую славу, ностальгические стихи о России и стихи патриотические. Концерт прошёл с успехом, поскольку большинство в зале составляли русские. Из членов общества Sloga присутствовало всего 11 человек.

На следующий день — 23 января поэт выступал в крепости Ревелин в Русском доме исключительно перед русской публикой. Выступление носило более интимный характер, чем в Sloga после вечера состоялось чаепитие. Из Дубровника супруги Лотарёвы уехали 24 января.

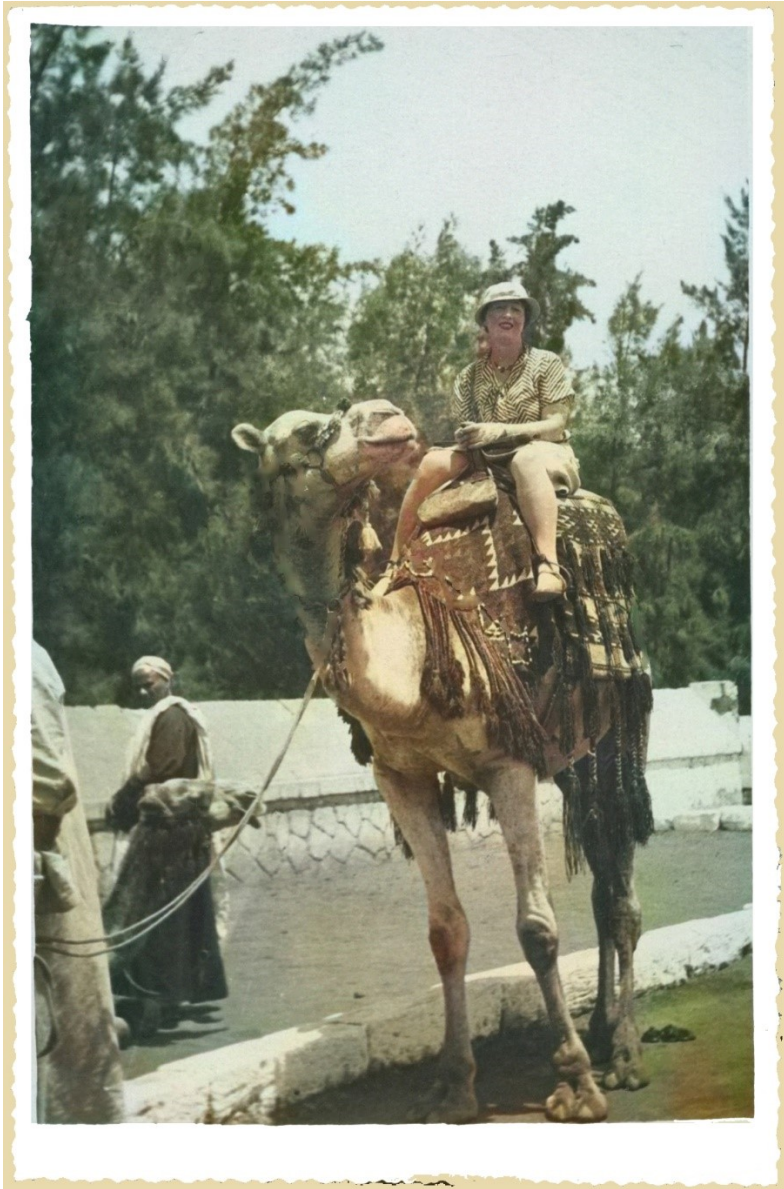


Дубровник. Sloga. Зеркальный зал.



Увы, нескольких дней в Хорватии оказалось мало для того, чтобы основательно поработать в библиотеке и в архиве Дубровника. Тем более, что в архиве должна найтись часть архива жительницы Цавтата Лидии Михайловны Ираклиди, которая помогала поэту с распространением его книг. Очевидно в её архиве сохранились и письма Игоря-Северянина.

В очерке Алексея Арсеньева «Русская эмиграция в Дубровнике» находим некоторые сведения о Лидии Ираклиди:



Лидия Михайловна Ираклиди. Фото подарено супругам Лотарёвым.

*«Уже как эмансипированная девушка, будучи студенткой, в Одессе, красавица Лидия Михайловна вращалась в художественных кругах. Она была первой любовью Валентина Катаева, знакомой и моделью художника Евгения Буковецкого, любовью и вдохновительницей художника и писателя Петра Нилуса, которому послужила прототипом Лику Солнцевой в одном его романе. Была знакома с Иваном Буниным и многими другими.*

*Разбогатев в Белграде, несчастная в браке и любви, она сочиняла стихи, материально помогала русским поэтам, финансировала издания их сборников, ей они посвящали свои стихи. Она оказывала финансовую помощь Игорю Северянину, переписывалась с ним, прекрасно декламировала его стихи. Дружила с Богданом Поповичем, который любил слушать чтение её собственных стихов. Одно интимное стихотворение посвящено ему:*

*Небо плакало холодными слезами  
До зари упорно дождь шумел...  
Я лежала тихо, с влажными глазами,  
Думая про Ваш и мой удел.*

*Нас судьба столкнула слишком поздно,  
В сердце пепел... холодно, темно...  
Мы должны расстаться тихо и бесследно:  
Чтобы не было ни больно, ни смешно.*

*В дни оккупации Белграда её с мужем арестовывает гестапо. Более трёх месяцев Лидия Михайловна провела узником тюрьмы «Баница». <...>*

*Лидия Михайловна читала газеты, русскую мемуарную литературу, интересовалась астрономическими феноменами; парапсихологию считала наукой будущего. Её волновала судьба дома на «Камне малом», после её ухода, – будет ли соблюдаться воля дарительниц, сестёр Соловьёвых, станет ли он приютом состарившихся артистов. <...>*

*Ещё при её жизни на каменистой цавтатской почве была вырыта могила на православном участке кладбища Св. Георгия, рядом с её родителями, супругом и сестрой».*

Лидия Михайловна Ираклиди (1893-1995) скончалась на 102-м году жизни в статусе «новой беженки» от войны 1991-1992 годов. Погребена на городском кладбище Апатина. Заслуживает ли такая судьба внимания, разумеется! Хотелось бы что-то сделать для её памяти тоже? Разумеется, хотелось бы,

если Бог даст.



Villa Flora. Дубровник. Сентябрь 2023.

*Поклон всем, благодаря кому состоялось это издание.  
А особенно —*

*Ана Рендо, dipl. knjiž. из Дубровника  
Анжеле Танага, Анне Макаровой, Валентине Сагар,  
Людмиле Пуусепп, Елене Холоповой, Анне Ратман,  
Алексею Рацевичу, Вере Парамоновой*